

Борис Екимов

Соловьи



Д





Борис Екимов

Соловьи

Рассказы и повесть



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84.3Р7

Е45

Художник О. Коминарец

Екимов Б. П.

Е45 Солонич: Рассказы и повесть/Художник О. Коминарец.— М.: Дет. лит., 1989.— 207 с.: ил.

ISBN 5—08—000824—5

В книгу известного советского писателя входят повесть «Частное расследование» и рассказы «Последняя хата», «Родня», «Солонич» и др.

Герои их — жители сел и небольших городов России — живут проблемами сегодняшнего дня. Трудолюбие, совестливость, доброта, забота о ближнем — вот главные темы произведений, вошедших в сборник.

Е 4803010201—424 192—89
М101(03)-89

ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—000824—5



Иллюстрации. Состав.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989

ОТ АВТОРА

Написать это предисловие заставляет меня вина перед девочкой-школьницей, которой я сказал неправду. Произошло это недавно на встрече с юными читателями.

Меня пригласили в школу. Отказать неловко, хоть и знаешь, что зовут тебя вовсе не дети, а учителя, чтобы провести «встречу с писателем», для «галочки» в отчете.

Все так и было: шестой урок, ребята устали, в меру сил я пытался их расшевелить, что-то рассказывая. Потом, как всегда, вопросы. Они, в общем-то, одинаковы во всех аудиториях: как начинали писать? Над чем работаете? Придуманное описываете или жизненное? Подняла руку девочка, встала, спрашивает: «У вас есть идеал?» И ждет ответа.

Я обманул ее. Как шла эта встреча довольно легкомысленно, так и я что-то шутливое промолвил. И лишь позднее понял: спросила-то всерьез.

Милая девочка! Коли попадутся тебе на глаза эти строки, прости меня. Прости и не суди строго. На людях об идеалах говорить как-то неловко. Да и

профессия моя не ораторская, она требует разговора наедине. Разговора предельно честного, в меру сил мудрого, с тем ли, другим читателем, но наедине. И теперь на этих страницах я отвечаю всерьез: у меня есть идеал. Чтобы понять его, прошу тебя, прочти эту книгу. Тогда ты поймешь, кого я люблю и во что верую.

Думается, в этой жизни мы с тобой заодно, как и положено всем добрым людям.

Б о р и с Е к и м о в

Баба Поля спала хорошо и проснулась здоровой. В хате было тепло, тепло стояло и на дворе. Позавчера, в среду, весь день-деньской вприпуску дождик сеялся. Больших дел он не наделал, но примочил все вокруг, и теперь лежала земля в пахучей весенней свежести и редкой еще зелени.

Баба Поля пошла по своему хозяйству с утренним дозором.

Смородина, что топырилась вдоль ограды, развернула мелкий копеечный резной листочек; а куст возле калитки уже в пяточок их вывернул, в ребячью ладошку. Этот куст был особый. Ягоды черные, крупные, а лист резко пахучий. Даже почка его в январе — феврале была духмяной. Берегла этот куст баба Поля из-за листа. Для огурцов такой лист — лучше не сыщешь.

Уже разбухли и полопались и вот-вот должны были развернуться вишневые почки. И полезла на белый свет бледная зелень яблоневых. Под старою вишнею пробились тугие пульки ландышей. Их посадила в прошлом году соседская девочка Нина.

Картошка, конечно, еще не взошла. Но любо глядеть было на черную, влажную, парную землю. Казалось, это земля от тепла и дождя вспухает и поднимается, словно доброе тесто.

Под забором уже на вершок поднялась бедовая крапива. Прежде всех вражья трава доспевала. Еще пустая земля стоит, а крапива уж вот она, радуйтесь, хозяева.

Баба Поля дальше пошла в огород. Здесь встали уже грядки лука-ботуна, чеснока, щавель дружно пошел, лезла петрушка. А со старой дулины, словно радуясь здоровью хозяйки, залопотал и залился черный веселый скворец. А вокруг орали дуром содомистые воробьи. Веселая шла жизнь во дворе.

Давным-давно, сразу после войны, заняла баба Поля это место и потому клетку себе взяла немереную, чтобы всю семью земля прокормила. Теперь она жила одиноко, но клетка осталась такой же. Лежала она просторным ломтем почти на углу улицы.

Слева, вдоль поместья шумливой Грипы, кишкой протянулось бабы Полино жилье — мазанка. Лепилась она не в один раз: сначала комнатка, потом другая, чулан, сарай, а там — плечом к плечу — прислонялись друг за другом курник, дровник, козий катух, а за ним базок. Стены у мазанки были невысоки — в малый человеческий рост — и везде одинаковы, а вот по крыше всякий бы угадал, где чья. Жилье и чулан стояли под добрым шифером; сарай да курник под старым железом; все остальное обходилось горбылем, рубероидом; баз, как и положено ему, божьим промыслом да какой-то хурдой-мурдой.

Причудное это, по нынешним временам, строение занимало лишь узкую полоску земли. Поодаль от забора, напротив окошка, подпирал небо высоченный тополь-раина. Он был так могуч и высок, что издали бабы Полино жилье у его подножия казалось кротовиной.

Вот и все, что могло привлечь чужой взгляд: могучая раина да малая мазанка. Далее же, вглубь, до самого низу, просторно лежал огород с немногими деревьями вдоль забора, с кустами крыжовника, смородины да малины. Большую часть огорода занимала картошка. Она еще не взшла.

Баба Поля размышляла довольная: «Прямо к сроку я угодила. Как метила под дожди. Теперь пойдет картошечка».

Со своего поместья окликнула ее молодая соседка Люба:

— Поднялась, что ли, тетя Поля?

— Оклемалась, слава богу.

— А я Нинке приказываю: бабуню Полюшку проведай, погляди, поспрошай, може, чего надо ей.

— Спаси христос, Люба. Она и вчера, и тот день меня проводывала. Молока мне из магазина принесла, хлеба, спаси христос...

— Надо бы тебе, тетя Поля, все же операцию сделать. Делают же люди.

Баба Поля взглянула на соседку, молодую, с сильным телом под стареньким платицем, и вздохнула.

— Это вам лечиться. А нас бог пристроит не так, так эдак.

— А вот Андронов из проулка, тоже не молодой, а сделал. И хорошо. Прямо не нахвалится.

— Да, може, и надо,— нерешительно ответила баба

Поля.— Это кабы знать... Она если бы беспрерывно болела, тогда бы конечно. А то вот целую зиму хранил господь, не жаловалась.

— Все от работы. Картошку сажала и надорвалась...

— От работы, от чего же еще... А куда от нее денешься? Землю не бросишь.

— Конечно. Мы вот молодые, да вдвоем копали, и то Василий вчера кряхтит, мотится... «С картошкой,— говорит,— с твоей...» Ну, побегу, на работу надо собираться. А тебе, тетя Поля, чего нужно будет, Нинку шумни, я ей накажу. Да она сама прибежет.

— Спаси христос,— ответила баба Поля.

И тут от второго соседства послышался резкий Грипин голос:

— Полюша! Поднял, что ль, господь?! Здорово ночевала?

— Слава богу. Вишь хожу, прядать не прядаю, а ноги держат.

— Оздоровела, значит...

— Оздоровливаю.

Городьба, что разделяла подворья бабы Поли и Грипы, имела перелаз, сделанный по-старинному, по-казацки: низкая скамеечка поперек. Но шли годы, и хоть перелаз на месте, по-доброму содержался, зато баба Поля и Грипа свое отпрыгали и отлазили. И теперь ходили друг к другу по ровной земле, в ворота, а у перелаза встречались для бесед. Полюша даже присаживалась на нем вроде на лавочку. Короткая и толстая Грипа, словно кубарь на колесах, предпочитала стоять. Столбушки могли ее подвести. К тому же боевой характер Грипе сидеть не велел. При разговоре должна была она в лицо человеку глядеть да языку помогать руками и всем телом. А сидючи такое не управишь.

— Я же тебе говорила, я тебя упреждала,— принялась читать Грипа.— Мы с тобой люди старые, из своих годов выжили, могуты у нас нет. Да такая у тебя болезнь, а ты себя не берегешь...

— Что ж теперь,— вздохнула баба Поля,— все кинуть, пускай бурьяном зарастает?

— Жадать нечего. Мне вон ребята вскопали за десятку, провались она... И не клята, не мята.

— Мне за десятку не схотели, пятнадцать требовали.

— А ты — горькая сиротина — ее не имеешь? — подбоченилась Грипа.

— Тебе хорошо говорить, такую пенсию получаешь. А я — без рубля тридцать. Значит, боле половины отдай.

— Не беднись. Марей тебя не оставляет, и сын помогает.

Дочь Мария и вправду присылала каждый месяц десятку, сын — от случая к случаю, по годовым праздникам, на конфеты.

— И-и, помощники,— отмахнулась баба Поля.— Маруське носков да варежков не успеваю вязать, с севером с ихним. На этих помогальщиков больше денег уходит. То сальца им пошлешь, то рыбки, посолонцевать им охота. Иде же ее возьмешь, денежку?

— Поройся и найдешь.

— Дюже часто рыться приходится. Твои рядом, какая беда — то сын тебе поможет, то зятя. А мне одна песня — поллитру готовь. Колонка разорилась — пол-литру. Свет нады не горел — опять в магазин беги. У погреба крышку новую сделали — две пол-литры. Не настатишься денежки.

— Из сундука вынь...

— Ну да, из смертных буду брать. Завтра помру, и хоронить не на что.

— Государство схоронит.

По правде говоря, баба Полюша наскребла бы эти пятнадцать рублей, что ребята из техучилища за копку земли просили. Не от жиру, но наскребла бы. Она уже совсем было на это решилась, увидев, как у соседки копальщики орудуют, ходко и вроде по совести. Но все же потом раздумала: как-никак, а всю жизнь и не по столько земли поднимала. Поможет бог и теперь. Как-нибудь, потихоньку да полегоньку, с отдыхом. Зато своею рукою, по-хорошему. Все же картошка будет расти. Картошка. Без любой другой гусиной еды как-нибудь прожить можно. А без картошки и погреб пустой, и на столе поглядеть не на что. Особенно в стариковской, не больно роскошной жизни.

А к пятнадцати рублям (их уже сбереженными баба Поля считала) пятерку можно добавить да навозу машину купить. Второй год земля без навозу ходит.

Все вышло по-решенному. Картошку баба Поля посадила, но болезнь свое взяла. И целую неделю старая

маялась, пластом лежала да ползком ползала. И нынче лишь первый раз по-хорошему на свет объявилась. А не время, ох не время было вылеживать. Колесо-то пошло крутиться по-летнему: мазать надо и белить, деревья обкапывать, пора и гряды делать — да что припевать, весенним делам и бог счету не ведает.

— Ладно,— вздохнула баба Полюша,— чего опосля воду лить.

— Жадай, жадай, до поры все это.

— А живем не до поры? До нее и живем. Пойду, еще не завтракала.

— Гля! — громким шепотом сказала Грипа.— Гость к тебе идет. Покупатель...

Баба Поля оглянулась: в калитку вошел и осматривался, ища хозяйку, мужчина.

Грипу от перелаза ветром сдуло. Когда баба Поля вернулась во двор и гостя встретила, в калитку уже вплывала ее досужая товарка, даже платок успела чистый надеть, и теперь, войдя во двор, поклонилась, поздоровалась.

— Слава богу, слава богу,— ответила ей с усмешкой баба Поля и подумала: «Без тебя-то и вода не освятится».

Так, все втроем, и уселись возле тополя, на лавочке. Гость был человеком не чужим. В этом же ауле он жил, на соседней улице, и пришел уже в другой раз, с торгом.

— Я все о том, тетя Поля,— начал он.— Давай окончательно поговорим. Я хитрить не хочу. Мне земля нужна. Земля у тебя добрая, клетка большая,— окинул он взглядом усадьбу.

— Ху-ух,— аж глаза прикрыла и головой закачала Грипа,— до чего здесь земля расхорошая, что у нее, что у меня. Родимая из родимых. Навозу сколь сюда покупали. Зато теперя картошка в кулак родит. Помидоры — сладимые, сил нет. Лучше нет наших помидор, и не говори мне! Во, раина эта,— ткнула она пальцем в дерево,— она не сажена. Хворостину пхнули — и гляди, чего сделалось.— Задрала она голову вверх, но вдруг опомнилась, коротко глянула на Полину и запнулась.

— Клетка подходящая,— повторил мужчина.— Мне строиться надо, живем как в курнике. Пятеро нас. Материал у меня готовый. А ты, тетя Поля, человек пожилой, одинокий. Тебе мой флигилек, вот после этой,— качнул он головой в сторону мазанки,— как дворец. Ты там будешь хорошо жить. Сам я его сделал, для себя. Печку тот год

перекладывал. Ведрушку угля не сжигаем, а дверь хоть настежь отворяй. Землицы мало. Из-за этого и ухожу. Две грядки да два дерева. А нас — пятеро ртов. С базара не наносишься. А тебе одной хватит. А эту махину тебе поднимать уже не по годам.

Все эти слова баба Поля с прошлого раза помнила, с осени. И все было правдой: старость пришла, и, конечно, лучше бы дожить ее не в этой мазанке, а в добром теплом домке. Все годы на что-то надеялась, чего-то ждала баба Поля. Все же двое детей у нее в живых ходили. Думала, что останется кто-то возле. Но выучился сын и жил в городе со своей семьей, приезжал к матери раз в год на день-другой. Дочь Мария и вовсе на край света умелась. Несколько раз гостевала вместе с мужем и детьми. Но возвращаться оттуда они не собирались. А и вернутся, так не сюда, найдут получше место. Так что надеяться было не на кого.

— Как раньше договаривались, я своего слова не меняю,— закончил мужчина.— Две тысячи dodatku. Только давай, тетя Поля, к празднику точный ответ. По теплу надо строиться. Я еще одну усадьбу присмотрел, тоже неплохая, но...— улыбнулся мужчина.— Твоя мне больше подходит.

Баба Поля лишь вздохнула, зато ее подруга устала молчать.

— А колонка у тебя какая? — недоверчиво спросила она.— Вода не горькая?

— Нормальная вода. Третий год колонке. Пьем, хорошая.

— А фильтр ты какой ставил? Песок не пойдет?

— Я ж для себя ее делал,— в сердцах сказал мужчина.— Не для дяди...— И на бабу Полю взглянул вопросительно, ожидая ее слова.

— Давай чуток погодим,— ответила баба Поля.— Тут такое дело, не враз придумаешь. Это ты правильно сказал, давай до праздников погодим, до майских.

Мужчина попрощался и ушел. Грипа, на цыпочках подглядев, что он удалился, принялась наставлять подругу.

— Ты приглядывай получше, а то он забудет тебе глузды. Может, у него во флигеле шáшел завелся, он и бежит. Надо у знающих людей поспросить. Да еще про соседей, попадет какая-нибудь сапа, будет вредить, свету белого не увидишь... Да и поторговаться надо, а ты сидишь как куля какая. Видать, он не бедного десятку...— Вдруг она обо-

рвала свою трескотню и сказала задумчиво: — А може, и правда... Може, и правда, Полюша, надо переходить. Флигелек неплохой. А твоя мазануха не на век. Рухнет,— вздохнула она.— И будет именья — одни каменья. А помоги откуда ждать. Дождешься, черт, от них помочи,— встала она.— Мои вон возле ходят да все доглядают, когда я подохну. Гуни не успеют поделить. На кой черт мы их на свет выпускали! Поморили бы лучше, спокойней было...— хлопнула она воротцами и ушла. И вот уже голос ее, вздымаясь до крика, кому-то вещал на улице о неблагородных детях.

Тесной и какой-то темной, неудобной — может, после светлого дня — показалась бабе Поле родная хатка. А была она и впрямь невеликой, эта мазанка, в которой и в рост выпрямиться нельзя. Полы были, правда, дощатые — вот и вся слава.

Переднюю комнатку и заднюю делила печь. В первой кровать стояла, к красному углу жался трехногий столик, а подле него — сундук. Во второй комнатке — вовсе крохотной — кухонный стол, умывальник, еще одна кровать, будняя, на ней баба Поля днем отдыхала, не раздеваясь.

Хоть и родная хатка, привычная, да не особо завидная. После войны-то она с другими в ряд стояла, а теперь, конечно, была за редкость. Худо ли, бедно, но строились люди. Поначалу все больше флигелечки ставили на два окна, не больше, с каркасами, но лепленые, беленые. Потом шелевать начали. Потом крыши менять с тесовых на шиферные. Мало-помалу кирпичные дома в ход пошли, сначала невеликие, а теперь в три, четыре глазастых окна лупились на улицу, да и во двор не меньше.

Только ее хатка с места не двигалась. Все выше поднимался над округой стройный тополь; и от этого соседства будто прижималась к земле мазанка.

А тот флигелек, что теперь предлагали ей в обмен да еще с додатком, был хороший. Шелеванный, крашенный зеленой краской, он весело глядел на мир светлыми окошками в голубых ставенках — хозяин был мастер. Стоял флигелек на высоком фундаменте, от коридора над крылечком нависал козырек. И спускаться было на землю удобно, держась за перильца,— для старых великое дело. А рядом, во дворике, летняя кухонька стояла. Хоть совсем малая, но аккуратная, как игрушечка. За воротами — скамеечка со спинкой, тоже крашенная, вечерами сидеть.

Еще по осени, после первого разговора, сходила и обсмотрела тот флигелек баба Поля. И не раз еще, благо что недалеко, проходила мимо, останавливалась, на лавочку присаживалась, глядела.

Когда в первый раз сходила, ночью плакала: очень похож был флигелек на мамин домик.

Ее мамочка в кухарках служила. Жили они при кухне. А мамочка не хотела на людях жить и мечтала о домике. Она часто Полюшке о том домике рассказывала.

Вот сколько лет протекло, сколько всякого было, а, как сейчас, помнит Полюша эти разговоры. В кровать они лягут, и так сладко слушать мамочкин рассказ о домике: домик небольшой они купят, но настоящий, мазанка не нужна, пусть совсем маленький — большой и не нужен, — лишь бы две кровати поместились и столик; и кухонька будет маленькая, но тоже со столиком, и шкафчик с посудой там же. Домик будет теплый, спокойный. Никто их там не потревожит. Днем мамочка будет к людям ходить, зарабатывать. А в домике хозяйничать будет Полюша. Вечером мамочка усталая придет, а у Полюши самовар готов. Сядут они на крылечке — у домика крылечко будет, пусть маленькое совсем, большого не надо, — сядут они с мамочкой и будут чай пить.

Сколько лет-годов прошло, вот уж кончается Полюшин век, а, как сейчас, она помнит: не было у них с мамочкой лучшего утешения, чем их маленький домик. У Полюши какая беда, слезы — мамочка ее ласкает: «Не плачь, Поленька, вот скоро будет у нас домик, будешь во дворике играть, цветочки с тобой посадим, мне-то некогда, а ты будешь их поливать. Будешь поливать?» Согласно кивает Полюша и успокаивается. А когда у мамочки что-то не ладится, Полюша ее лечит: «Не горюй, мамочка, вот скоро будет у нас домик. Красивый такой, хорошенький...» И все проходило.

Это ведь не сказка была про домик-то. Деньги для него лежали за божницей. И какую-нибудь мазанку уже можно было купить. Но мать все прикапливала, деревянный хотелось, хороший.

Деньги лежали за божницей, и мать их почти всякий день пересчитывала. Хозяин ей говорил: «Положи в банк. Копишь-копишь, а потом утащат и ищи-свищи...»

— Что вы! — не верила мамочка. — Бог не допустит. Бог сирот бережет. Он за пазушкой наши с Поленькой

денежки держит. Не достать их злому человеку. Не достать.

Бог деньги сберег. Но пришли вдруг худые времена, а потом еще хуже, а потом такие страшные, что память отшибло. Все кружилось там и горело, все мешалось: белые и красные, кадеты, казаки... И все пропало, все кануло, и все пошло прахом. И выбросило на опаленный берег лишь малую Полюшку для горькой сиротской жизни.

И вот теперь, когда увидела баба Поля тот флигилек, что предлагали ей, она сразу узнала его. Это был их с мамочкой желанный домик. Но как опоздал он! На целый век. А одной и радоваться было несладко.

То ли дело, когда они с мужем и дочкой переходили в свой новый, собственный довоенный дом. Уж тот был из домов дом. Даже с галереей вокруг.

Купили его с рук на хуторе, разобрали и перевезли. Но дом был крепкий, вековой. При разборе-то видно, нигде шашелем не тронутый. Золотой дом, что ни говори.

Вот когда радости было! Маруська топотила по белым скобленным полам, все по комнатам пряталась. У Полины и слов не было, она лишь как дурочка смеялась да все снова и снова кидалась прибирать дом, мыть его, печку подбеливать, полы банить. Алексей в первую же ночь в новом доме сказал: «Ну, здесь-то, мать, ты родишь сына, не откажешься».

И она не отказалась. Раньше, еще до Маруськи, она двоих приносила мертвеньких. А здесь, в новом доме, и года не прошло, как закричал маленький, но весь, не только именем, в отца Алешка. Такой же светленький и сероглазый.

* * *

А может, и правда, она, как и мать ее, уже на этих домах помешалась. Как знать... Но, уходя в отступ, в войну, она уже точно знала, сердцем чуяла, что с домом ей больше не встретиться. Она и уходила-то совсем недалеко. Она бы, может, и вовсе с места не тронулась, но когда Алешу на фронт забирали, он о детях приказывал. Пусть все дымом пойдет, лишь бы детишки уцелели. И она не посмела послушаться.

А когда через полгода вернулась, то лишь фундамент, аккуратный, неломаный, лишь камни фундамента стояли на

подворье. Не бомба, не снаряд, не огонь, а военные умелые люди по бревнышку раскатали Полинин дом и куда-то увезли его для своих забот.

Рядом, на улице, нетронуты стояли другие дома: мажанные, лепленные... Каких-то коснулась или вовсе порушила война. Но было, было что поднимать из разрухи. А золотой Полинин дом словно бог забрал, оставив на земле лишь дикого камня фундамент.

Полина не вернулась на старое подворье, чтобы сердце не рвать. Зимой пробедовала с детишками у далекой мужней родни. А по весне начала ладить новое жилье.

Первый разговор об этом завела дочка Маруся.

— Мамочка,— сказала она,— давай домик сделаем. Хоть маленький, зато наш будет.

Дитем еще была Маруся, десятилетним, но, видать, и ей было несладко возле чужого подола жить.

— Из чего же делать-то,— вздохнула Полина.— Да и когда делать, кто делать будет... Я ж работаю.

— Другие же делают. Я подмогну... из глины слепим,— не сдавалась дочка.— Пусть маленькая-маленькая, но наша хатка. Только бы кровать одна уместилась, вам с Алешей. А я на полу. Натопим, тепло будет.

Полина и сама знала, что век у чужих людей не проживешь, но все оттягивала, все казалось ей: не сегодня завтра война кончится, Алексей придет, тогда все и уладится. Но дочкины слова отрезвили; так можно и весну, и лето у чужого гнезда прокуковать.

На свою усадьбу Полина не пошла еще и потому, что там было место высокое, песчаное, а жить и детей кормить нужно было огородом. На иное надеяться нечего. Полина и нашла такое место, низовое, с хорошей землей.

Она тотчас обкопала неглубокой канавой огромный лафтак земли — лишнее можно бросить потом — и засадила всю землю тыквой. О картошке не приходилось мечтать, а тыква была спасением, из каждого семечка может нарасти, и уходу немного. А на уход рук не было, руки нужны были для дома.

Главная забота — глина. Из карьера на себе возить — не навозишься. Пришлось во дворе свою ямину копать, добывать глинку. Кое-где на брошенных усадьбах грудились остатки глиняных фундаментов. Приходилось их долбать и возить к себе на тачке. А еще...

Как лепит ласточка свое гнездо? Вроде и малая птица,

и слабая, а неустанно несет катышок по катышку, за комочком комочек лепит, и добрый домик получается, иным и большим птицам на зависть.

Так ладила свою мазанку и Полина. До работы успевала глины добыть на «круг» и оставляла ее размокать. А вечером ногами вымешивала, потом выкатывала с соломой и катышок за катышком, словно касатущка, лепила и лепила стены. Когда время пришло, два огромных плетня сплела из хвороста, чтобы разом накрыть мазанку вместе с сенцами. А сверху еще чаканом покрыла, положила притуги, приклячила их к плетням, промазала все глиной с навозом, и снутри, и снаружи. И получился домик.

Маруся, когда в готовый вошла, обмерла, а потом кинулась матери на шею: «Какая у нас хатка, мамочка! Лучше ее нету!»

Лучше не лучше, но и не хуже других получилась мазанка. Вот уж три десятка лет стоит, смены не просит.

Той осенью бог наградил Полину и детей ее за труды. Столько тыквы огород уродил, аж глядеть было страшно, все укатано. И семена попались хорошие, желтая тыква, костянка. Все ею забили: погреб, и сенцы, и комнатку. Этой тыквой и спаслись, прожили зиму. Тыква сладкая была, парили и ели, парили и ели. И встретили отца живыми и здоровыми. И опять собрались всей семьей, но ненадолго.

Алексей вернулся с войны плохим, что-то надорвалось в нем или уже болело. В сорок седьмом осенью он простудился и за месяц сгорел. А в декабре, уже сиротой, родился мальчик, Ванечка, последыш, любимый сыночек.

Ах, сколько с ним было говорено-переговорено... Сколько рассказала ему Полина, доверила, сколько жалилась — малой капли того другим детям не поверяла. Да и с кем еще было говорить Полине, с кем откровенничать?! Маруся как в техникум уехала, так и канула. Алеша тоже рано из дома ушел да так и не воротился. Один Ванечка от матери шагу не шагнул.

Как уложила его в январскую землю, почти под окнами. Ямку выскребла, горячими камнями с печи отогрела ему постельку, чтоб не в ледяную лег, последними тряпицами обернула, не пожадничала. А чтобы не утерять сынка, не запамятовать, вместо креста до весны хворостину поставила, какая под рукой оказалась.

А по весне объявились у той ветки почки, листья развернулись. Полина на то деревце как на чудо божье гля-

дела. И пошел, потянулся вверх молодой тополь-раина, свечкой стал над землей, над Ванечкой.

Встал и шагу со двора не шагнул, лишь в небо поднимался да в кости креп.

А как он слушать умел, не перебьет мать, слова ей не заступит... Как весело шумел по весне да летом. Как стерег ее волчьими осенними да зимними ночами, гудел басовито, но ласково: «Здесь, мол, я, спи, мать, не полохайся». И Полина спала, ничего не боясь. Чего же страшиться матери, коли не одна во дворе, и не будет одна, до веку.

* * *

Отзавтракав, надела баба Поля шерстяные носки, перепоясалась теплым платком, чтобы спину сберечь, старый пиджак натянула, а на него фартук, примкнула хату и отправилась в огород.

Не торопясь, глубоко вскопала она две грядки под огурцы. Вскопала, и пот ее прошиб, видно, от слабости, сколько дней проболела.

— Бабуня Поля! — окликнула ее соседская девочка. — Тебе в магазине ничего не надо купить?

— Спасибо, Ниночка. Всего ты мне нанесла: хлеб еще есть и молоко.

Девочка не ушла, она открыла калитку, что соседние огороды соединяла, и, подойдя, спросила:

— А чего ты будешь сажать, бабуня Поля?

— Огурцы думаю посадить.

— Можно, я тебе буду помогать?

— А уроки поучила?

— Поучила.

Баба Поля поглядела через забор: на соседском огороде обычное место, где огурцы сажали, было вскопано, и только.

— Отец копал? — спросила она.

— Папка, нынче утром.

— Давай их, Ниночка, порадуем, отца с матерью. Я тебе буду показывать, а ты делай. По-соседски будем работать, на своих огородах. Помогать кто чем может. Так у нас дело и пойдет. Мамка с папкой с работы придут, глядь, а огурцы уж сидят. Вот, скажут, какая у нас дочка работающая да разумная. С такой дочушкой мы не пропадем. Согласная?

Ниночка, смущаясь и радуясь, кивнула головой и прошептала:

— А я смогу, бабуня?

— Смогешь, коли постарайся.

И взялись они за дело: верхний слой земли вынули, сделали подкладку из прелых листьев и ботвы, чтобы не озябли нежные ростки, потом с перегноем помешали вынутую землю и в эту мягкую постель уложили семена. Воды нагрели погорячей для полива. Рамы устанавливали, накрывали их.

Славно было нынче работать на земле. Доброе солнце как с утра поднялось, так и светило, не ленись, пригревало. Жирно поблескивала темная земля, хорошая земля, родимая. Недаром то и дело черви земляные попадались, да не какие-нибудь тощие да белесые, а жирнющие, красные, налитые.

Над головой, на высокой грушине, скворцы забавлялись. Нынешний день, людей возле себя завидев, они разбойничать принялись: шипели по-змеиному, по-лягушачьи квакали, клекотали утробно, будто добрых песен и не ведали.

Баба Поля терпела-терпела, и терпение лопнуло.

— Ждали вас, ждали,— распрямившись, сказала она,— а вы несусветное плетете... так, послушать нечего. Летите тогда отсюда, такие нам не нужны.

Птицы будто поняли человечью речь, устыдились, завели настоящие песни, с серебряными колокольцами. Особенно любила баба Поля, когда скворец, пропев, умолкал и вдруг нежно высвистывал: «Тю-и-и-ить! Тюи-и-ить». Ласково выговаривал.

— Баба Полюша,— сказала Ниночка,— они тебя послухались, понимают.

— Эти цыгане такие, все разумеют, лишь притворяются. Счас снова дражнить зачнут.

Скворцы и вправду заквакали и закрикали, но ненадолго. Веселый день стоял, весенний, в такой да не петь! И скворчики залились, поднимая к солнцу серебряные клювы. А им помогал гость залетный, близкого поля житель, малый жаворонок.

К вечеру посадила баба Поля огурцы и свои, и Ниночкины. Небольшую гряду редиски посеяла, хотя редиска у нее не росла, червивела да и в корень уходила. Редиска на песке удается.

Посадила все баба Поля, отработалась и подалась в

магазин. Честно говоря, идти туда ей было незачем: молоко еще оставалось, да и не бывало по вечерам в магазине молока, его с утра разбирали. Что до хлеба, то и черствым бы повечеряла, не подрала рот. Но какое-то невольное хотение заставило ее наскоро умыться и бежать на соседнюю улицу, в магазин.

А дело в том, что с высокого магазинного крыльца как на ладони виден был тот самый флигель, что бабе Поле на обмен предлагали. И, дойдя до магазина, она туда не зашла, остановилась на ступеньках: поглядеть.

Хороший был домик, ладный, крашеный, на высоком фундаменте. В желтом свете уходящего солнца он казался игрушкой и золотисто сиял стеклом окошек. И дрогнуло сердце у бабы Поли, глядя на домик. На ее домик. Как славно будет сидеть в тепле, возле окошка, и не в землю глядеть, а всю улицу видеть, весь просторный мир. В таком домике и жизнь, конечно, станет веселее. И может, сын будет почаще приезжать, а летом, на каникулы, внуки. В таком домике не грех и погостить, не то что в мазанке.

В магазине баба Поля не только хлеба взяла, но и на сорок копеек сыру. Срам говорить, но в последние годы стала она словно дите малое. И иной раз то сырку покупала, то конфет к чаю. Умом-то знала, что сыр ей не по деньгам, а брала. И нынче решила взять. Все же день не простой, вроде праздник. Да и чего мелочиться, когда не сегодня завтра тысячи будут у нее в руках. О таких деньгах баба Поля и думать боялась.

Дома, растопив печку, баба Поля чаю согрела и так хорошо поужинала, даже слишком. Весь сыр незаметно уплела и охнула: «О господи, куда в меня лезет...»

Потемнело уже за окнами, и пошла баба Поля погреб на ночь прикрыть, да кур, да сарайчики. Все дела обделаав, она вернулась к мазанке и, как всегда вечером, присела на минуту возле тополя на лавочке.

Присела старая, подумала: «А ведь как уйду я...»

И как только она это подумала, легкая дрожь пробежала по тополю от темного уже низа до светлой еще вершины. Будто вздрогнул тополь, от ветви к ветви пронесся страшную вестъ. Вздрогнул и затих. И в этой тишине, сверху, издали, негромко, словно из иного мира, донесся до земли легкий стонущий звук. Голос горлинки.

«У-ур-лу-у-у, у-урлр-у-у», — мягко, сонно причитала птица.

А может, то вовсе не птица стонала, но вечная ангельская душа младенца Ванечки. Стонала и плакала, чуя близкое расставание с матерью и последний свой, уже недалекий час.

«У-урл-ру-у, у-урл-ру-у», — как всегда по весне постанывал голубь. Но баба Поля, замерев, не дыша, слушала этот далекий глас и, когда он затих, уронила на жесткую тополевую кору большие руки, ткнулась головой и замерла.

Ни о чем не думалось старой женщине, ничто не поминалось. Но в горьком отрешенье что-то теплое и родное грело ладони рук и туманило голову... Обрывки каких-то счастливых минут не то прошлой, не то будущей жизни проплывали, уходя насовсем... И другие, но не враз, приходили им вслед... То были не люди, не лица их, а лишь легкое дыхание людского мира. Лишь отзвуки, отблески своей ли, чужой ли жизни. А может быть, просто забытье...

А вернувшись в этот мир, баба Поля поднялась, утерла горстью сухие глаза, огляделась. Совсем уже стемнело. Мелкие желтые звезды проклюнулись на синем ночном небе. А самая золотая звезда стояла над раиной.

И об одном лишь пожалела сейчас баба Поля, жалела о том, что не похоронят ее вот здесь, подле этого тополя, подле сына и родного дома. Не исполнят ее волю, сколь бы она ни молила. А до той поры, когда позовет ее бог, она сама властна.

2

Не ждала баба Полюша и не гадала, а вышло так, что в мае месяце, как раз накануне троицы, прибыли к ней гости дорогие: дочь Мария, зять Федор и внучек Олег. Приехали они после обеда. Баба Поля, как всегда, в огороде возилась, когда слышала во дворе говор. Рук не обтерев, пошла она поглядеть и, до места не дойдя, обмерла: родненькие во дворе ее ждали. Тут она голову потеряла, слезами залилась, стояла, опустив руки. Насилу-насилу опаматовалась.

Мужики — Федор с Олежкой — тут же собрались дорожную пыль обмыть, добро что на своей машине прибыли. Мария осталась с матерью.

Началась для бабы Поли радостная колгота. Из последнего, уже жестковатого щавеля затеяла зеленые щи варить. К Демкиным в проулок баба Поля сбегала, двух



хороших лещей да судачка принесла. У соседки Грипы соленые арбузы век доживали, баба Полюша один порезала, пересыпала вялую мякоть сахаром. Слава богу, редиска нынче удалась неплохая. Портить ее магазинной сметаной не стали, сходили на дом, доброй купили да еще каймачком разжились. Соленые грибки у бабы Поли водились, новая вялка — чехонь да синец — подошли. И вовсе на диво, дождались-таки своего часа десяток темно-красных яблок с желтым медовым мясом из тех, что при добрых руках лежат до новины.

Женщины управились, а мужики что-то долго глаз не казали. Когда, наконец, машина ко двору подъехала, Мария ругаться изготавилась, но из кабины вылетел такой счастливый Олег с ведерком в руках.

— Ма-ама! — кричал он. — Ба-абущка! Ра-аки! Честное слово! Глядите!

В ведерке и вправду шевелились десятка два иссера-черных клешнястых раков. Оказалось, что попали мужики на водохранилище. Искупались и увидели ребят, которые в камышах промышляли. Принялись сами лазить. И вот, как говорится, улов налицо.

— Купили небось! — смеялась Мария.

— Мама, ну вот честное слово! — пунцовел от обиды Олег.

— Вот гляди, гляди, — совал он матери под нос меченые клешнями пальцы, — вот он укусил меня и вот за большой как ухватит, а я аж заорал! — И тут же к бабке кидался: — Бабушка, бабушка, давай сварим сейчас, а?! Ну, пожалуйста...

— Об чем говорить, — счастливая от радости внука, улыбалась баба Поля. — Счас и сварим.

Она старого укропу нашла, у него дух острее, сварила раков. И когда, наконец, уселись за стол во дворе, на воле, то зять Федор от удовольствия рыкнул:

— Ну, мать Полина, — он всегда ее так звал, — ну, мать Полина, уважила... И рыбка... — сладко ткнул он ноздрями воздух, — и арбуз. Свои, что ль, яблоки?

— А то чьи. Вон та яблонька, — сказала она. — Такая добрая, всю зиму лежат.

За встречу, конечно, выпили, здесь и баба Поля не отказалась. И так хороша была добрая еда на свежем воздухе, что никого уговаривать не пришлось. Лишь хозяйка, щей похлебав, глядела на своих дорогих, радуясь.

Олегу всего хотелось. Он хлебал уху, а глазами косил на багровых, крапленных укропным семенем раков; увидел, что отец рвет и сладко ест вялку, к нему кинулся: «Дай, дай попробовать!» И на яблоки он глядел алчно, и временами ухватывал ложку-другую бело-розовой хрустящей редиски, и тогда сметанные «усы» раздвигали рот.

— Гляди, прохватит,— смеялась Мария.

— От доброй еды не прохватит,— успокаивала баба Поля.— Это не консервы ваши, столетошние. Чебачину голову бери, Олежек, пососи. Уж и сладкая...

— Какая чебачина? — не понял внук.

— Ху-ух, несмысленный... Чебак — ему два фамилия, у нас — чебак, у других — лещ. А помене какой чебачок — тот кияк. А совсем малый — ласкирик. Вот пойдешь на речку, ласкирей натягаешь, я тебе их поджарю. Ху-ух и сладкие. Прямо не наешься...

Была бы Олегова воля, он бы тут же, из-за стола, за ласкирями ринулся. Но теперь он лишь повертелся, на мать, на отца поглядел, спросил:

— Поедем?

— Поедем, поедем. Не спеши, наловишься...

Первую охотку утолив, зять Федор еще одну стопку выпил, лучком ее закусил, редисочкой и, оглядев веселыми глазами застолье, родню свою и зеленый двор, его окружавший, и чистое небо, сказал:

— Хорошо... Сниму-ка рубашку. Не возражаете?

— Скидай. Пусть тело дыхнет.

— И я, и я... — не отстал Олег.

Теперь они сидели рядом, по пояс голые, отец и сын, круглоголовые, рыжеватые, белотелые, даже с синевой, сытенские. Добрые складки — Олегу-то уж вовсе ни к чему — над поясными ремнями нависали.

Отец закурил, сын за раков принялся.

— Ну что, мать Полина? — спросил Федор.— Дочь тебе ничего не говорила?

— Чего? Либо что сделалось?

— Ничего. Просто я ей не велел тебя трогать. Потом, говорю, сядем и все обсудим. Мы ведь, мать Полина, с Севера совсем убрались. Виктору с Анной квартиру оставили, а сами снялись.

— Чего это вы надумали? Не заболели ли, не дай бог?

— Да нет, пока здоровые. Мы уж давно решили. Хватит. Стажу у нас теперь,— махнул он,— хоть займы давай.

Деньжат...— поглядел он на жену,— немного поднакопили. А всех их не заработаешь, да и не к чему, надо другим оставить,— засмеялся он.

Баба Поля недоверчиво поглядела на дочь, та молча покивала ей головой: дескать, правда.

— Да хоть пожить надо, мать Полина. Ну чего мы на этом Севере видели? Четыре стены? Да работа. Хотем вот к тебе проситься. Построиться здесь,— развел он руками, оглядывая просторный двор.— Хороший дом поставить, современный такой. С отоплением, с ванной. Машина есть. Река здесь хорошая. Лодку куплю с мотором. Грибы есть?

— Грибов нынче много,— сказала баба Поля.— Масленков стало в соснах родиться, прям мешками люди везут. А я вот опенки больше уважаю,— показала она на тарелку.— А счас люди никакими не гребают. Чернопузики берут и сапინые жарют, бзделы, дожжовки...

— О! — обрадовался Федор.— Маслята — это хорошо! В соснячок за маслятами, о-о-о...— прижмурился он, а потом продолжал: — Это, я понимаю, жизнь. Сад разведем, настоящий. Земли много. А я люблю, мать Полина, в земле возиться. Не под землей,— подчеркнул он,— а наверху. Сад, огород, рыбалка, на охоту сходить, грибы,— перечислял он мечтательно.— Да так вот просто посидеть на воле. Арбузов насадим, бахчу заведем,— восторженно воскликнул он.— Арбузов наемся. Да-а,— засмеялся он.— Я все распланировал, а ты молчишь. Берешь нас к себе?

— Чего спрашивать,— ответила баба Поля.— Мне скоро помирать, не с собой же я все это заберу. Живите. А я возле вас, глядишь, чем и помогу еще.

— Вот и хорошо,— сказал зять Федор.— Правильно. Тебе одной жить тоже несладко. Вместе лучше. Построим большой дом. Тебе отдельную комнату, чтоб не беспокоить. Жаловаться не будешь. Дочь у тебя вроде неплохая. Я тоже мужик не шибутной. Олег вот у нас,— засмеялся он, подталкивая сына,— колобродный... Ну, уж как-нибудь... Давай тогда, мать Полина, выпьем за новую жизнь.

За такое баба Поля не выпить не могла. А когда выпила, то скоро голова у нее пошла кругом. Легкий счастливый хмель ласково бередил душу. Так хорошо стало, так радостно. Да и как ей было, старой, не радоваться, если в один день свершилось то, о чем она уже и мечтать не смела. Обрезалось ее одинокое, горевское житье, и теперь до веку

будут вокруг нее родные люди. Будет кому и кружку воды подать, а придет пора, и глаза закрыть и поплакать.

— Мария как хочет,— говорил Федор,— а я устроюсь каким-нибудь сторожем. Так, лишь бы числиться. Семьдесят рублей, больше не надо. Чтобы сутки отдежурил и... свободный. Лодка, мотор... На рыбалку. Пожить, мать Полина, по-человечески пожить. Солнце чтоб тебя грело, зелень вокруг, теплая вода... Пенсии мы свои заработали. Виктор сам на ногах, квартиру ему со всей обстановкой оставили, грамма не взяли. А этого огольца вырастим. Здоровый будет. И самим пожить охота. А всех денег не заработаешь, да и зачем они? Ведь деньги для жизни нужны. А если ее нету, если работа да четыре стены, зачем деньги? Скажи, Мария...

Мария согласно кивала головой. Она вся в мать была, в бабу Полюшу, лишнего не уронит.

Между тем отворилась калитка, и соседка Грипа, во всем новом, остановилась, будто от неожиданности, а потом весело возгласила:

— Здорово дневали! Отколь вас столько взялось?! Какой вас водой сюда принесло?! Либо каламутной?

Гостью за стол усадили, налили ей чарку.

Знакомые еще по прежним приездам, Грипа и зять Федор друг другу обрадовались. Он ей свое втолковывал про новую жизнь, которая теперь пойдет, про новый дом и прочее. Грипа слушать-то слушала, но и свое припевала:

— Ну, до чего разумный зять у тебя, Полюша. По-умному он все раскладает. Вот моих бы зятьев господь надоумил... Или б вот у Федора они подучились. А то мои дочушки мужьев себе понаходили каких-то с сырю. Так, пустодомные мужики. А он вишь как раскладает...

От добрых слов и выпитого Федор еще более разгорячился, ему тут же, немедля, новую жизнь хотелось начать.

— Рулетка где? Олег? Маша? — вскочил он с места.— В Москве какую брал. Пятидесятиметровая, специально. Где?

— В машине где-то.

Федор пошел к машине, все перевернул, но вернулся с новенькой рулеткой.

— О! — показал он круглую, посверкивающую на солнце коробочку.— Специально на толчок ездил. С рук.

В магазине не достанешь. Олег, тащи свой альбом, карандаш, линейку. Рисуем план.

Тут же тарелки были в сторону сдвинуты, освобождая место для новой заботы. И мужики склонились над бумагой.

Женщины отсели от стола на лавочку, под тополь. Грипа принялась Марию дотошно расспрашивать: как на Севере живут, да что едят, да сколько денег получают. Мария рассказывала охотно:

— Заработки не сравнить, даже смешно. Вот ваши, дочери ваши, зятя, сколько получают?

— У них разве добьешься, такие хитручие...

— Ну, пусть сто рублей, ну, мужчины сто пятьдесят. А у нас Федя получал пятьсот. Я — почти триста.

Грипа вскидывалась и застывала, рот забывая закрывать.

— Но климат, климат. У нас как говорят: июнь — еще не лето, июль — уже не лето. Снег может выпасть. Купаться нельзя. Бывает, все лето так в пальто и проходим. А уж как ночь завернет...

Баба Поля все это знала из писем и прежних рассказов, но снова, как в первый раз, горько ей слушать было о таком житье. Глядела она на дочь, на внука, на зятя, искала на лицах следы их немыслимой жизни и тут же думала, чем бы пригреть их, порадовать. Думала, думала и придумала. Решила курицу зарубить да свежей лапшой попотчевать. Отвыкли, поди, от свеженького, все консервы да консервы. А в консервы чего не напихают.

Тут в мирные бабьи разговоры мужики влезли.

— Все, готово! — доложил зять Федор и рассмеялся довольный. — Идите, глядите! — И, не дожидаясь, пока женщины поднимутся, сам подошел с альбомом в руках.

— Ну-ка, Олег, — обратился он к сыну, — объясни, какой мы проект соорудили. Пусть утвердят, внизу вот здесь распишутся.

Олег принялся растолковывать, показывая линейкой:

— Дом будет двухэтажный...

— Какой-какой? — недоверчиво спросила Грипа.

— Двухэтажный. Наверху будет две комнаты: моя и для гостей.

Грипа к Полине повернулась, тихо спросила:

— Ты слышь?

Полина кивнула головой.

— В самом низу под домом будет гараж, мастерская, погреб,— объяснял Олег.— На первом этаже вот веранда, видите... Потом коридор, прихожая, направо в зал входим, налево кухня с кладовкой, там дальше туалет, ванная. А прямо по коридору бабушкина комната. После зала там спальня, и все. Но оттуда можно на веранду выйти. А наверху еще балкон.

Грипа внимательно следила за кончиком линейки, которой указывал Олег, вытянув шею, вглядываясь, и хотя ничего не видела и тем более не понимала в рисованных перепутанных линиях, но слушала настороженно, даже испуганно. Потом толкнула Полину:

— Это чего такое делается?

Баба Поля лишь вздохнула в ответ, она толком и не слушала, а слышанному веры не давала. Мало ли что дите говорит. Да и в конце концов Полине разве дом был нужен? Она свое в домах отжила. Ей к иному пора готовиться. А дети пусть по-своему делают, как хотят. Им теперь жить.

— Это чего ж,— поджимая губы, спрашивала Грипа,— уборная при доме будет? Не гребостно?

— А как же в квартире, тетка Грипа, в городе? — отвечал Федор.— Все по-городскому сделаем. Сантехнику, септик сделаем, водопровод.

— Вода в хату пойдет?

— Пойдет.

— А чего, и пойдет,— со вздохом сама себя убедила Грипа.— Вон Чинегины сделали. Ходила, глядела. Вот так-то во придавишь,— ткнула она пальцем,— щелканет и текет. И баня, значит, при доме?

— И баня. Ванную поставим, душ, все как положено. Греть воду в колонке. Все удобства. Приходи, мойся.

— Спасибо за приглашение.

Грипина разговорчивость куда и делась. Сидела она, опустив руки, слушала-слушала, с тем и поднялась.

— Дай бог, дай бог,— сказала она.— Помогай вам бог. Спасибо за угощение. Простите Христа ради.— И уж у самой калитки Полине сказала: — Ху-ух и зять у тебя разумный, да и внук. Мне бы хоть одного такого господь подослал.

И после ухода Грипы зять с внуком не успокоились, от бумаги к земле перешли и меряли ее, перемеряли вдоль

и поперек, палочки втыкали, все прикидывали. Баба Поля в их дела не мешалась. Пусть себе тешатся. Будет еще время по-доброму, всерьез обо всем поговорить. Ведь дело затевалось нешуточное.

Вечером стали устраиваться на ночлег. Баба Поля, как и в прошлые разы, приглашала гостей в дом, свою кровать уступала. Но они уж, видно, привыкли в машине спать. Правда, на этот раз Мария решила остаться в доме, на материнной будничной кровати.

Пока постели устраивались, колготились, уже и свечерело.

— Бабушка,— спросил Олег,— а у тебя телевизора все нету?

— Зачем он мне нужен?

— Как зачем, глядеть. Кино показывают.

— Сроду я его не глядела.

— Без телевизора плохо,— сказал Олег.— Тогда будем спать.

— Это правильно,— одобрила баба Поля.— Это для здоровья, чем глаза-то ломать.

Следом за сыном зазевал и запотягивался и полез в машину Федор. Мать с дочерью тоже не засиделись, пошли в хату.

После долгой отлучки да с воздуха таким тесным, прямо-таки неправдашным показалось Марии материнское жилье.

— Ой-ей-ей,— покачала она головой, оглядывая и трогая рукой стены и низкий потолок.— Как же мы жили-то здесь, мама, как умещались, а? Ведь... сколько? Трое, четверо... а с Ванечкой пятеро... О-о-о...— Она глядела вокруг и поверить не могла, что в этих тесных и низких земляных стенах, под этим жалким кровом когда-то жила она и росла.

— А как вошли мы сюда,— вспомнила мать,— ты уж забыла? Как кинулась мне на шею, говоришь: лучше нашего домика на свете нету, мамочка. Не помнишь?

— Не знаю... Забыла... Да нет, помню, как мы входили... Тыквы у нас еще много было, желтой такой. Везде накатано.

— Точно. Хорошо в тот год тыква уродилась. После никогда такой не было, сколько сажала. Может, на мою кровать ляжешь? Я же привычная.

— Ложись, мама, на свою. Я и здесь.

Улеглись и потушили свет. И лишь тогда, в темноте, спросила баба Поля:

— Вы взаправди надумали здесь строиться? Или смеетесь...

— Ты чего?.. Какой смех. Мы еще в тот раз, когда были, прикидывали.

— А чего мне не сказались?

— Зачем раньше времени трезвонить? Сейчас знаешь жизнь какая! Одно надумаешь, а получается...

— Значит, взаправди,— поверила баба Поля.— Ну что ж, вам здесь неплохо будет.

Они лежали молча, и баба Поля, зная, что дочь не спит, сказала:

— А я было хатами поменялась. Приходил тут человек.

— На что же он менял?

— На свой флигель. Добрый флигелечик, шелеванный. Земли там, правда, мало. Еще в додачу денег давал,— горделиво сказала баба Поля.— Аж две тыщи...

— Чего ж не поменялась?

— Да вот не схотела. Раздумалась... Привыкла к своему углу, к соседям. И могилка здесь Ванечкина. Не схотела. И я так планую, можа, не ломать мою хату вовсе. Вы рядом постройтесь, земли хватит. А я уж по-старому. Базы да сараюшки можно поломать, срам один. А мой домик оставить.

— Ты чего это? — недоуменно спросила дочь, и слышно было, как кровать ее скрипнула.— Ты чего придумываешь? Места, что ли, не хватит?

— Да знаешь, доча, счас жизнь какая пошла... Може, и мы, старые, виноваты. Но вот многие не уживаются. Ругня идет, нелады. А то бы я при своем домке жила да жила. Вам бы помогала, чем могла, а спать бы уж здесь. Сюда немного топки идет. Може, так лучше?

Снова скрипнула кровать, поднялась Мария и, найдя светлеющий проем между столом и печкой, вошла в материнскую комнату, нашла постель ее, рядом присела.

— Что с тобой? — спросила она.— Чего ты выдумываешь? Гляди, Федору не скажи. Он так уважает тебя. Меня если хочет укорить, то первые слова: «Ну, нет, ты не в мать Полину». Чего нам с тобой не ужиться? Раньше, слава богу, уживались, а теперь... Сделаем отдельную тебе комнату, чтоб покойно было. Чего нам делить? Мы уж тоже не молоденькие. Так что не выдумывай, мама.

Долгий вздох был ей ответом. И не могла понять Мария, что в этом вздохе: вера в слова ее или все та же печаль. Спокойнее было подумать первое. Да и вправду, чего было горевать. Но вдруг новая мысль пришла в голову Марии, и она охнула:

— Ма-ама... Ты о Ванечке, о могилке?.. Да? Ну, давай перенесем ее, а? Выкопаем, так ведь делают. На кладбище похороним, возле папы. Памятник поставим хороший. Давай, мама? Завтра Феде скажем и все сделаем.

— Не надо. Ничего не надо. Он уже здесь прижился. Он нас не осудит. Я с ним нады говорила.

— С кем, мама? — испуганно спросила Мария.

— С кем, с кем... Да с ним. Во сне он ко мне приходил. Хорошо мы так поговорили. Я ему загадывала, вдруг, говорю, домик себе надумаю делать, а ты как раз посеред двора. А он говорит, ну и с богом, ну и стройся. Я не помешаю. Чужим, только, говорит, меня людям не отдавайте. А с вами я буду... Хорошо так поговорили... — почти шепотом и более для себя, счастливо вспоминая, проговорила баба Поля и замолчала вовсе.

Мария пошла к себе и скоро заснула.

Баба Поля же почти не спала, долго лежала и поднялась до свету. Вовремя завтрак сготовила. И когда зять Федор уселся за стол, первым делом спросила его:

— Вы точно надумали строиться или еще прикидаете?

— Точно, мать Полина. Чего лучшего искать.

— А когда начинать думаете?

— Надо начинать. Вам же Олег вчера показывал план.

— Чего об этом зря воду лить, дите есть дите.

А я тебя серьезно спрашиваю.

— А я серьезно и говорю, надо начинать. Вот справа, здесь, дом.

— Прям по картошке? Она уже цветет.

— Чего ж делать? Ждать картошку, а потом зимой строиться?

— Никогда-то вы по-умному не сделаете,— в сердцах проговорила баба Поля.— Нет чтобы упредить. Семена бы не тратила, не надрывалась. О-о, господи...

Поглядела она на пышную зеленую ботву с фиолетовым цветом. И казалось бабе Поле, что никогда еще так хорошо не поднималась картошка, как нынче, и урожай она сулила невиданный. А теперь всему пропадать. Но тут мысли ее перекинулись к иному.

— Мария говорит, мою хату ломать, а я думаю, ни к чему эта спешка. Зачем? Дом — домом, а мою хату вместо летней кухни оставить можно, — горячо убеждала она. — Мазанка крепкая, глина хорошая была, и лепила я ее хорошо, на руках выкатывала. Стоять ей да стоять. Чего зря деньги губить. Дом поставить, и моя хата не помешает. Сколь простоит — и слава богу. Денежки целей будут. Она еще многих переживет, — убеждала баба Поля.

Федор слушал ее, слушал, потом мягко сказал:

— Нет, мать Полина, давай уж одним махом. И дом, и летнюю кухню на месте хаты твоей. Чтоб уж все до дела. Сразу и материал брать, и людей, мастеров, нанимать не десять раз. Сразу в одно лето отстроиться, и потом голове не болеть. Сама подумай, хорошо ли будет: один год — стройка, другой год — опять канитель. Сразу-то легче и дешевле, согласишься.

— Конечно, сразу оно... Ну, гляди, ты мужик, хозяин, тебе видней.

— Вот и правильно, мать Полина. Ты не горюй, не горюй, не жалей. Все будет хорошо.

— Как же мне не жалеть! Ведь не дареное... Все руками вот этими... Везде сила положоная. Как ее не жалеть...

Федору жаль было старуху, но нечем ее было утешить, и он сказал:

— Что же делать, мать... Жизнь, жизнь...

— Жизня, жизня... — согласно ответила баба Поля и более разговоров об этом не заводила. Чего говорить о решенном.

Тем более что зять Федор с первого дня за дело крепко взялся, и негоже было у него под ногами путаться.

Уже через неделю во дворе словно цыганский табор поселился: большая палатка стояла для жилья, у забора высились ровно сложенные штабели кирпича, лесу, надежно укрытые мешки цемента, груды песка, глины. Да уж забора-то почти не было. Пара звенок осталась, остальной убрали. Придавили бревнами, примяли смородиновые кусты. Хорошо хоть добрую не тронули, пахучую. И баба Поля этот куст выкопала и унесла подальше в огород, посадила. Хоть и не время, да все целой останется.

Но забор да смородина — все это мелочь, начало лишь. Все пустое перед страшным завтрашним днем, когда появится трактор, чтобы ямы для подвала выкопать и гаража,

канавы фундамента, а заодно и смести со двора мазанку.

Баба Поля с утра поднялась угрюмой. Но не о мазанке, о доме своем, не о сыновьем тополе, которому тоже лишь день остался, не об этом почему-то думалось. Болела душа о картошке. Баба Поля ходила вокруг нее, глядела, рвала себе сердце.

В колено уже поднялась и дружно цвела картошка. Немного бы погодить, хоть недельки две, и рыть можно молодую картошечку. Ходила баба Поля, ходила и, наконец, не вытерпела, взяла лопату и ведро и начала копать.

Словно по живому резала, копала куст за кустом, обдирала белые грозди мелкой, в горошину, картошки, бросала их в ведро горсть за горстью. Рядка два вырыла, когда Мария к ней подошла.

— Ну, чего ты, мама, делаешь? Зачем?

— Хоть чуток, да нарою. Все не пропадет. Курям скормлю,— упрямо сказала мать, не поднимая к дочери головы.

Дочь молча отошла. И хоть слова она не сказала, но баба Поля вслед ей со слезой выкрикнула:

— Я ее сажала, такую расхорошую. Сажала, чуть не померла, а теперь кидать!

Дочь ушла, ничего не ответила. А следом, немного погодя, объявился зять Федор. Вошел он во двор и, конечно, сразу направился к бабе Поле. В ведро заглянул, куст-другой отряхнул за лопатой и сказал:

— Ни к чему, мать Полина. Брось, переживем. Только надорвешься.

— Не надорвуся,— ответила баба Поля и запричитала со слезой: — Да ты глянь, чего делается! Какая расхорошая картошечка удалась! Да я сроду такой не видала! Счас бы полить ее хорошо и через неделю...— схитрила она,— через неделю на базар. Да ее с руками по рублю килограмм оторвут. Озолотимся!

— А строиться будем зимой? Так? — спросил Федор.

Баба Поля сразу отрезвела, подняла к зятю виноватое лицо, сказала:

— Да понимаю я... А вот... Делай все, как надумал, я не перечу. А меня не трожьте. Я ее все одно не брошу, вырою. Курям можно запаривать. А може, поросеночка заведем,— обрадовалась она.— Он все подберет. Да, може, в каких кустах подошла. Синеглазку я вон там сажала, у



лапотников брала. Она быстро подходит. Так что делай, с богом, свои дела, а я уж сама...

Ушел и зять Федор. А баба Поля копала и копала, куст за кустом. «Ишь какие,— думала она,— ничего не надо. Все брось да все кинь. Привыкли на Севере на своем деньгами раскидывать. Здесь вы быстро прокидаетесь. Дай волю, все на дым пустите. Богачи... А вот богачи, богачи,— со злорадством припомнила она,— а цемент ворованный купили, подешевле. Впотьмах привезли да все быстрее, быстрее... А картошку брось... А по мне лучше мало, да честно,— отходила душой баба Поля.— Медное, да свое. Чтоб потом не оглядаться да не полохаться: ой, не меня ли ищут, да не меня ли ловят, а спокойненько по ночам спать. Вот так-то оно лучше,— думала баба Поля,— по-божески, по-человечески...»

Так она хорошо и спокойно, по-молодому, без отдыха, работала до самого полудня, как вдруг в единый миг поняла, что делает пустое. И оставила баба Поля в борозде и ведро, и лопату, кинула все, не прибрав, пусть пропадает. Пошла в свою пустую уже хатенку, дверь за собой прикрыла.

Большой и просторной показалась ей пустая хата. Просторной, светлой и такой доброй для житья, что чуть было не кинулась баба Поля дочку звать и Федора. Идите, мол, поглядите, не с ума ли мы сходим, собираемся такую хату зорить. Но вовремя остановила себя баба Поля. Вернулась в сенцы, заперла дверь, чтоб никто не входил, и пробыла там одна, сколько надо было, чтобы с хатой проститься и помолиться в ней последний раз. А помолившись, сняла теперь ненужную икону, в платок ее завязала и, выйдя во двор, объявила своим:

— Я к Михеевне уйду на два дня. Пока вы здесь ломаете. Не можете мне глядеть.

Но прежде чем идти в долгий путь, к Михеевне, на другую сторону поселка, баба Поля решила поужинать. И так хорошо она щей похлебала, целую миску, да еще корец подлила. Голод какой-то напал. А наелась, сразу в сон кинуло. Отяжелела голова, руки-ноги чужими сделались. За столом бы и заснула.

С трудом добралась баба Поля до мазанки, кинула на пол фуфайчку и прилегла отдохнуть. Прилегла и как провалилась. Но тут же проснулась от темного, душившего ее страха. Даже горло перехватило от ужаса, от предсто-

ящей беды. И баба Поля с трудомдохнула, поднялась и вновь легла. Но страх, осязаемый страх, предчувствие какой-то подступающей, неминуемой беды охлаждал душу. Что-то должно было случиться.

Баба Поля вдруг ясно поняла, что беды не миновать. Видно, родилась она с грехом, и с рождения положил ей бог не иметь доброго угла. Первый, мамочкин, забрал до срока, даже не показав. Не дал и на второй порадоваться, тот, что с Алешей построили. Не отступится и теперь. Не будет нового дома, не будет. Пожар ли, войну ли найдет, даве уж война была, даве, даве... Но дома не будет.

И больней больного было то, что за ее неведомые грехи пострадают дети: Маруся, Федор, внучек Олег. Она, она во всем виновата, и дом-то ведь не нужен ей, скоро помирать. А накажет господь ее детей, которым жить да жить, жить да радоваться.

И о смерти, вначале робко, но о смерти подумала баба Поля.

Как хорошо было бы сейчас умереть. Пусть заберет ее бог и как хочет карает, его воля, но пусть не тронет детей ее. Пусть они дом построят и живут в нем хорошо. А ее пусть господь приберет, пускай даже в ад, она все вытерпит. Но пусть не тронет детей.

И эта мысль была так хороша, так умна, так разом все расставляла по-хорошему, что баба Поля принялась просить бога о смерти. Шептала она про себя горячие слова, молила. Потом к родным своим обратилась за помощью, чтобы они подсобили.

«Мамочка, хоть бы меня господь прибрал... Я по тебе наскучала, мамочка. Сколь мы с тобой не видалися, попроси, мамочка, господа... Ванечка, ты ангельская душа, ты к господу близко, замолви за меня доброе слово, сыночек. Алеша, и ты попроси. Може, вас вместе господь и послушает...»

Так в немых молитвах и просьбах заснула старая женщина, все же взял ее сон. И сразу, только что заснув, увидела она, что идет по дороге, по чистому, ровному полю. Идет, и конец пути уже близок: посреди чистого поля стоит маленькая хатка. А у порога встречает ее мать. Встречает, улыбается, говорит:

«Полюшка, доченька моя, слава богу, дождалась я тебя. Уж как мы с тобой расхорошо заживем. Хатка у нас есть.

Маленькая, но хорошая. Две коечки помещаются, твоя и моя, и столик. Такая теплая хатка. Иди скорее, родимая моя дочушка, Полюшка моя желанная».

А рядом, возле хатки, возле крылечка, кто там плещет ручонками ли, тонкими ли ветвями...

Поля прибавляет шаг, и слезы радости уже теплят ее лицо. И боль подступает, сладкая желанная боль встречи...

Сейчас, сейчас они встретятся.

В эту Прибалтику пока собрались, поругались десять раз. Сам Алексей не долго думал. В конторе ему предложили: поедешь с женой? На двоих туристическая? Города Прибалтики: Вильнюс, Рига, Таллинн. Он туда-сюда прикинул и решил: «Была не была. Съездим». Осень. Немного дел. Да и в кои веки предложили: первый раз в жизни и, может, последний. Хоть белый свет поглядеть. В общем, согласился.

А домой пришел, Ольга на дыбы.

— Либо сдурел? Об хозяйстве душа не болит? Картошка не копана, соломы не привезли. О дровах не думаешь. А дети с кем? Скотину на кого кинуть? Скоро зернецо будут давать. Проездим и останемся с таким.

Припевать жена умела, только слушай ее.

Но тут дети разом навалились, особенно старшая дочь, считай, невеста. У нее был свой интерес: с пустыми руками мать не вернется, что-нибудь да привезет. А в Прибалтике магазины — не нашим чета. Про это слыхали. И Ольга сдалась.

Два вечера копали картошку. Соломы Алексей привез, пилил дрова — чтобы уж ехать со спокойной душой.

К Ольге со всего хутора сбегались бабы. Охали да ахали, судили-рядили, наперебой заказывали то да это: и детское, и женское, и всякое, с чем бедовали. Ольга лишь успевала записывать. У ребят тетрадку взяла и записывала в ней, чтобы хоть с деньгами потом рассчитаться, не перезабыть, кто что давал.

Лишь мать Алексея, Мартиновна, жила как обычно. С утра и до ночи, в меру сил, копошилась по хозяйству. Вечером сидела за двором, на скамеечке. Рано уходила в свою боковуху, долго готовилась ко сну и засыпала.

А на нее, на нее была вся надежда. Ольга так и говорила:

— Мама, надежда на тебя.

И то было правдой: дочка в школьный интернат увезется, поминай ее, а с ребят какой спрос.

— Поезжайте с богом,— говорила Мартиновна.

Она была не очень стара, шесть лет лишь пенсию получала. Но годы годам рознь. Пятерых детей подняла. Всю жизнь в колхозной работе.

Вдовый плат на голове, суровые морщины, померкший свет в глазах — отжила свое.

— Твои-то едут? — спрашивали ее.

— Едут...— отвечала Мартиновна.— Такая жизнь настала. Это мы прожили век за куриный пек...— И замолкала.

Собрались. Поехали. В последний вечер, укладываясь, Ольга, спохватившись, спросила Мартиновну:

— Мама, а тебе что привезть? Може, платок?

— У меня этих платков...— усмехнулась Мартиновна.— С каждых похорон. До смерти.

На похоронах теперь платки раздавали старым женщинам, пошла такая мода.

— Ну, ладно, там поглядим,— махнула рукой невестка.

Мартиновна задумалась на минуту, тихо сказала:

— На ноги б чего... Вот ныне бы, к осени.

Невестка уже не слушала ее. Услышал сын, пообещал:

— Поглядим, мама.

Мартиновна вздохнула. Ноги у нее болели и просили доброй обувки: не вечных резиновых калош да сапог, а чего-то другого, поприветнее. Она в последние дни все думала об этом, да боялась просить. Какую-то такую обувку ей хотелось, чтоб и теплая, и ловкая, и приглядная на вид.

Смешно сказать, но последние ночи снились ей трофейные ботики, что подарили отец и мать, выдавая замуж. Давно то было, и ботики в голод поменяли на картошку. Но помнилось: желтой кожи, с крючками и шнурочками, такие ловкие на ноге. Надевала их считанные разы, берегла. Потом уплыли ботики в чужие руки. Теперь вот какую ночь снились. Снились, и во сне ноги меньше ломило.

У Алексея с Ольгой все складывалось хорошо. Благополучно долетели. Зря лишь пугались: самолет, самолет. А самолет — он удобней еще: раз-два — и на месте. И ничего страшного.

Группа попалась хорошая: свои люди, колхозники, лишь из других районов. Долетели, разместились в гостинице, кормежка — все как положено. И конечно, экскурсии. С утра до ночи. И по магазинам — пожалуйста. Магазины и в Вильнюсе, и в Риге — не нашим чета. Бабы просто шалели. А мужики — больше по пиву. Пива в Прибалтике хоть залейся.

И дни полетели невидя, один за другим. Пожили в Вильнюсе, потом в Риге, приехали в Таллинн. Здесь Ольга день-другой побегала и устала. Деньги кончились, и, по правде говоря, уже набрались всего: два чемодана и коробок ворох. Еще неизвестно, как уезжать с таким багажом. В самолет не примут.

Оставалось чуть-чуть до отъезда. И уже начали думать о доме, о детях, о домашних делах. Вот тут Алексей о материнской просьбе и вспомнил.

— Мать же просила на ноги чего-нибудь. Осеннее. Надо взять.

— На станцию с торгами поеду,— пообещала Ольга.— Калоши куплю.

— Калоши...— обиделся за мать Алексей.— Себе так набрала,— показал он на чемоданы.— А матери калоши.

— Ей сколь лет? — спросила Ольга.— Может, ей туфли на высоком?

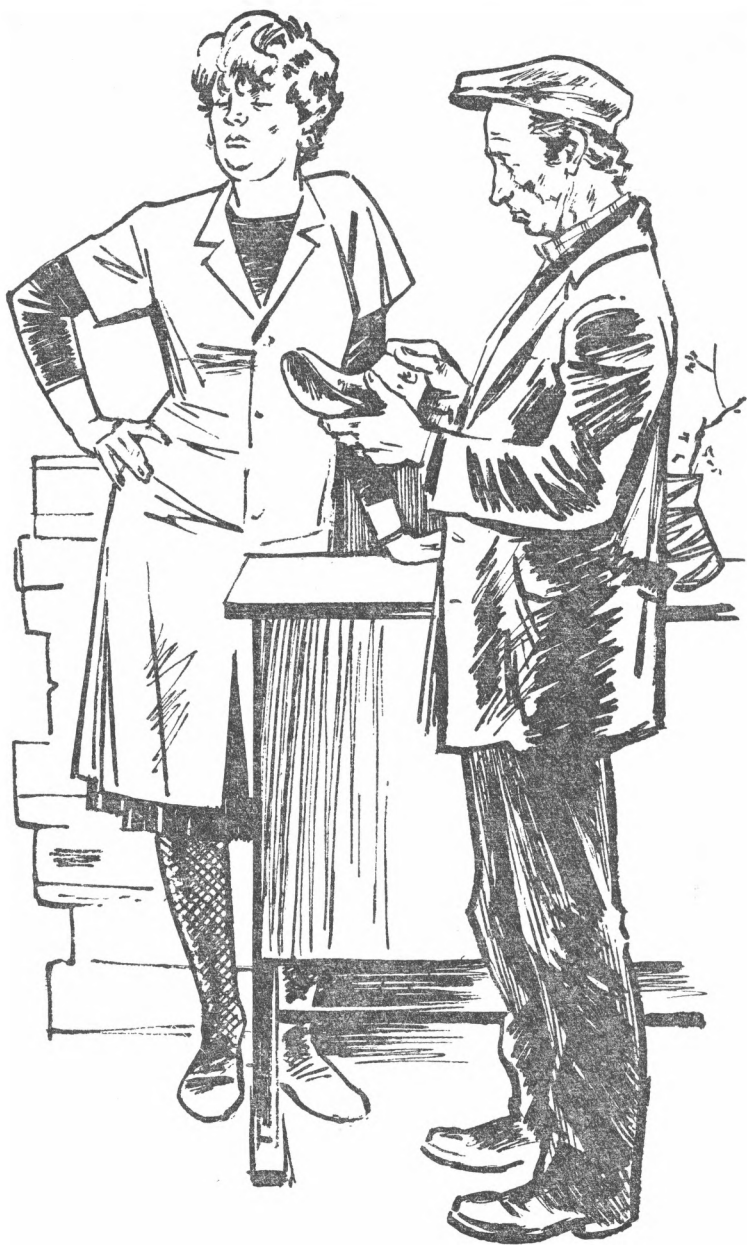
— Ну, не на высоком... а все же можно подобрать чего-нибудь получше калош. Как-никак...

— Вот иди и покупай,— махнула рукой Ольга.— А у меня ноженьки гудут. Бери вон кошелек и иди.

— И пойду,— сказал Алексей.— Куплю. Еще получше тебя выберу.

Время было не позднее, магазины открыты. Зашел Алексей в один да другой. Ходил возле полок, приглядывался, но ничего не мог выбрать. Хотелось, чтобы и для ноги были хороши, и все же мать не молоденькая. Чтоб и помягче, и потеплее — к осени. И попримягднее. Вспомнил он мать, раздумался. Как она жила... Ведь, кроме чириков да сапог резиновых, сроду не нашивала ничего. Захотелось ее порадовать. Чтоб надела — и люди завидовали. Пойдет, положим, в магазин, за хлебом, сразу углядят. Охи да ахи. «Сын привез»,— скажет мать, Алексей даже засмеялся, представив это.

В одном из магазинов он решил с продавщицей посо-



ветоваться. Обычно он продавщиц побаивался, а тут решился.

— Мне бы чего для матери,— попросил он.— Для осени обувку.

— Калоши вон в том отделе.

— Я же не калоши спрашиваю,— обиделся Алексей.— Чего вы все с этими калошами? Сами небось...— покосился он на ноги продавщицы.

Продавщица усмехнулась, оглядела Алексея с головы до ног, в глазах ее вспыхнул злой огонек.

— Вам для осени обувь? — пропела она ласково.— Приличную, да?

— Конечно.

Продавщица нагнулась, пошарила под прилавком и выставила желтой кожи ботиночки, игрушка — не обувь. Аккуратные кнопочки сбоку, мех внутри, а кожа, даже на взгляд, так выделана была, так мягка... Не обувка — сладкий сон.

— Вот это да...— проговорил Алексей.— А почему?

Этого вопроса продавщица ждала. Она же Алексея насквозь видела: по его одежке, по лицу. Она его поняла сразу и теперь выговорила внятно:

— Шестьдесят рублей.

Алексей охнул. Глаза его округлились, открылся рот. Он вроде к ценам привык, к сумасшедшим. Сапоги дочери да Ольге покупали. Но то сапоги, до колен. А здесь кожи-то кот наплакал.

— Ничего себе,— проговорил Алексей.

— Я же вам сразу сказала: калоши в другом отделе,— процедила продавщица с такой откровенной ухмылкой, что захотелось взять этот ботинок да...

Алексея жаром осыпало с ног до головы. Он вытаскивал кошелек и бога молил: лишь бы хватило, лишь бы хватило... Руки тряслись, пересохло во рту. Продавщица глядела в упор.

«Сорок пять, сорок шесть... Трояк и рубли... Не хватит,— пронеслось в голове, и тут же вспомнил: заглазничать, от жены утаенное. Вытянул и вздохнул: — Слава богу!»

Он расплатился, не глядя обувку забрал и лишь на улице вздохнул свободно. Чуть отошел от магазина, через плечо покосился: не глядят, раскрыл коробку. Здесь, при солнечном свете, ботиночек казались еще лучше: шелко-

вистый мех внутри — тепленькая пещерка, кожа гладенькая блестит — игрушечка, и только.

Алексей невольно на свои башмаки поглядел и усмехнулся, подумал, что надо бы как-нибудь тоже приобрести.

В гостинице Ольга, ботиночки увидав, с ходу запричитала:

— Сдурел, сдурел! Либо выпил?! Точно, пьяный! Да как твоя башка сообразила?! — Она цену сразу почуяла, но все же спросила: — Сколь?

Алексей ответил.

Ольга заплакала.

— Дурак. Последнюю денежку. Хоть бы подумала твоя башка, мать их оденет ли? Да за такие деньги. Дочь невеста... Хотела ей...

Ольга плакала, причитала, а сама меж тем взяла один ботинок и пыталась всунуть ногу в него. Но куда там с ее тридцать девятым. И у дочки ноженька не полезет — в маму уродилась. В досаде бросила ботинок на пол, сказала в сердцах:

— Иди, пускай денежки вертают. Скажи, не подходят.

Алексей обычно жену слушал, и теперь он понимал ее правоту. Как ни говори, а для матери... Одним словом, дороговато. Он понимал теперь, что погорячился, что виновата продавщица — стерва такая. Он все понимал, но снова идти в магазин и деньги просить назад он не мог. Режь его, убивай, с живого кожу сними — не мог.

Ольга отпричитала, отплакала и вспомнила:

— Верка заказывала, Дианова. Я и не думала ей брать. А у нее ножка маленькая, продадим.

И все успокоилось. Все пошло своим чередом. Таллинн, экскурсии, потом самолет — и домой.

На хутор приехали ночью. Но дома не спали. Конечно, ждали их и детвора, и мать. Началась колгота. Старшая дочь примеряла обновки, малыши конфеты да пряники грызли. Мартиновна радовалась со всеми вместе. Ей Ольга платок привезла, черный с розами. Недорогой платок, а приглядный.

Дочка в узлах да чемоданах копалась и углядела ботинки, те самые, желтенькие. Она их вынула из коробки, и в электрическом свете ботинки засияли — глаз не оторвать.

— Это кому? — спросила дочь.

Ольга нехорошо засмеялась:

— Это сынок маме купил. За шестьдесят рубликов. Выбрал.

Мартиновна, казалось, не слышала откровенной насмешки. Словно замороженная, встала она, подошла, взяла желтые ботинки в темные руки. Погладила верх, подошву, потом примерила. Ботинки оказались впору. Мартиновна по комнате прошла так легко, словно новая обувь сама пронесла ее от стола до порога и назад.

Ольга глядела молча, Алексей замер, и дети замолчали.

Мартиновна обувь сняла, поставила ее на стол, голову уронила и заплакала.

— Бабаня, ну, бабаня... — кинулась к ней внучка. — Чего ты... Гляди, какие хорошенькие.

Алексей тоже подошел, сказал:

— Мама, не надо.

Но Мартиновна плакала, и в слезах ее кто виноват был... Длинная нескладная жизнь? А может, те, трофейные ботики, с крючочками и шнурками, из молодости? Или вот эти?

Алексей не выдержал, вышел на крыльцо, закурил. Ольга выскочила вслед за ним. Пыхнув папиросой и проглотив ком в горле, Алексей сказал:

— Ты гляди не вздумай у нее забирать.

— Чего уж я, совсем, что ли... — прошептала Ольга. В глазах у нее стояли слезы.

Городской день пролетел незаметно. Лунякин выехал с хутора затемно, ко времени в город успел и там, колхозные дела управляя, нигде будто не рассиживал, лишь перекусил наспех в каком-то буфете — и день промелькнул. Осталось лишь время кое в какие магазины заскочить да заехать к свояченице — родной сестре жены, — передать гостинцы да приветы. Оттуда он выбрался не сразу: поужинал, новости рассказал да выслушал — в общем, тары да бары. Оставляли его до утра, но Лунякин ночевать решил у старинного товарища, с которым дружил с детства, сельхозинститут вместе кончали. Товарищ был по рождению человеком городским, но с малых лет подолгу жил на хуторе, у деда с бабкой. В детстве и младости бедокурили вместе, потом учились в институте. Окончив учебу, товарищ остался в городе, Лунякин вернулся к себе, в колхоз. Но старое не забывалось. Старались, по возможности, видаться. И нынче, коли случай выпал, Лунякин решил заночевать у друга.

А там, куда Лунякин спешил, гостей не ждали. Уже собирались ложиться спать, досматривали телевизор, позевывая. За окном стихал город: гул машин, громоуханье трамваев полегоньку утишивались. И тут объявился неожиданный гость — Лунякин.

Прибыл гость, и квартира словно сбросила дрему. Хозяин пошел вниз, во двор, отпирать гараж. Своей машины пока не было, но гараж имелся. Хозяйка готовила скорый ужин. Хозяйская же дочка хрумтела хуторским гостинцем — репкою. Теперь, по весне, тем более в городе, этот нехитрый овощ был едов и сладок.

Когда мужики вернулись в квартиру, уже и хозяйка репкой баловалась, грызла. Гость засмеялся, спросил:

— Лучше ваших апельсинов? То-то... Ты помнишь? — обратился он к хозяину. — Раньше-то как ее любили. По краю левады насадит мать, оставит в зиму, а рано весной, еще никакой зелени нет, так в охотку едим. Потом пере-

стали сажать, позабыли. А это наш новый агроном привез, говорит, лечебное, от всех болезней, называется топинамбур. Получше разглядел: да это же репка! Помнишь?

— Репка...— передразнила гостя хозяйка.— Ты чего глаз не казал всю зиму? Нету и нет...

— Наскучали? — спросил Лунякин.— Приехали бы на провед. Дурачья зима какая-то,— пожаловался он.— То одно, то другое. Зимовка тяжелая. Потом опять меня в район сватали, еле отбился.

Лунякин председательствовал в колхозе, и который год уже звали его в район.

— Не хочешь в начальство?

— Нет. Не желаю. А потом я ногу сломал,— вспомнил он.— Да... Угораздило. На ровном месте сиганул и не встал. Срасталась плохо. Видно, уже не молоденькие,— пожаловался он.

— Ну да? — удивилась хозяйка.— Слава богу, дошло,— и, поглядев с улыбкой на мужа и гостя, добавила насмешливо: — Женихи...

— Отженихались...— покачал головой Лунякин.— Отгулялись, седоклокие...— взъерошил он свои густые черные волосы в жестких кольцах. Седины там было не счесть.— Отгулялись... Теперь вот чья пора,— шагнул он к хозяйской дочке, обнимая ее.— Мои девки велели тебя привезти. Каникулы ведь... Троек-то нет?

— Нет,— ответила девочка.

— Ну, и поехали. Завтра поднимемся — и айда. Дела я сделал.

— А секция? А музыка? — всполошилась хозяйка.— Да там и каникулы-то — кот наплакал. Неделя всего.

— Мама...— просяще протянула девочка.

— Поедем, поедем,— успокоил ее Лунякин.— Мне девки приказывали — высшее начальство. Они уж с каких пор галдят. Моды им городские расскажешь, песни. Молочка попьешь. Заморилось дите совсем с секциями с вашими,— пожалел он.

Хозяйская девочка и впрямь гляделась не больно хорошо. Рослая, но в юной худобе: с тонкими руками, угловатыми, худыми плечиками.

— Ну, ладно, поезжай,— разрешила мать.— Но чтоб вот такая приехала...— надула она щеки.— Хуторская...

— Сделаем,— пообещал гость.— Поставим на интенсивный откорм. У нас скотина за сутки по килограмму привеса дает. А мы чем хуже? А? — спросил он.— Даешь килограмм привеса? Берем обязательство?

— Берем,— весело согласилась девочка.

— Вот и хорошо. А где дедуня? — вспомнил вдруг гость.— Либо уже спать улегся? С курами? Или на гости подался?

Хозяин смешался, растерянно поглядел на жену, но и та не сразу нашлась, замерев с недоеденной репкой в руках. Девочка, дочка их, взглянула на смолкших родителей и сказала спокойно:

— Дедушка у нас не живет. Он теперь в доме престарелых.

— Не болтай, чего не понимаешь! — оборвала ее мать.— Сколько раз говорить, не в доме престарелых, а в доме ветеранов войны. Ветеранов войны,— подчеркнула она.— Это огромная разница. А ты плетешь... Иди ложись спать! Утром не добудись, не поднимешь ее, а вечером...

Девочка опустила глаза и ушла, хозяйка продолжала речь:

— Услышит где-то и плетет. Повторяет чужие глупости. Не варит башка. Пойду и я ложиться,— внезапно решила она.— Вчера так плохо спала, и завтра чуть свет... Так надоело...

Она ушла, и мужчины остались одни, в тесной кухне, за столом, друг перед другом.

На воле отходил к ночному покою вечерний город. Реже и звучнее бежали по пустеющей гулкой улице трамваи. В небе, над крышами, в стороне западной, светила неяркая, но чистая заря. В кухне темнело.

Молчать было тягостно. Хозяин завел разговор:

— Тебя куда в район-то сватали?

— В управление,— не сразу ответил гость.

— Не хочешь?

— Нет. Бумажки перебирать, на людей цобекать да забегать начальству вперед, в глаза заглядывать. Смолоду не привык, а теперь...

Они сидели друг против друга, два нестарых еще мужика — чуть за сорок обоим — плечистые, крепкие, но в ранней седине.

Говорили о городских да хуторских новостях, перебра-

сывались словами, но в глаза друг другу боялись взглянуть.

— Так как же с дедом-то? — не выдержал, наконец, Лунякин. — Чего ж вы его так?

Хозяин вздохнул, ответил нехотя:

— А чего дед? Дед живет неплохо. Можно сказать, у христа за пазухой. Дом ветеранов войны. Для ветеранов специально построили. Сейчас, знаешь, как к этому делу относятся. Для них — лучшее. Там все блесит. Кафель югославский, пластик, красочка тоже импортная, паркет, ковры, зимний сад, всякие процедурные кабинеты, врачей куча. За ними как за детьми малыми.

Хозяин начинал говорить будто нехотя и чуть виновато, но постепенно смелел, поднял голову, и голос его звучал тверже:

— Врачи, медсестры — весь персонал... В обкомовской больнице такого нет. Кондиционеры, цветы, питание.

Лунякин сидел все так же, склонясь над столом. Он слушал и слышал все, но виделся ему почему-то не шик-блеск с югославским ярким кафелем и коврами, а какая-то невзрачная комнатенка, больничная койка и дед — под серым казенным одеялом. Виделось такое — и все.

Деда увезли с хутора прошлой осенью, еще по теплу. Получилось все как-то быстро: приехали, забрали, дом удачно продали. Хороший был у старика дом, и глядели за ним хорошо, бабка рук не жалела. Весной старая умерла, остался дед сиротой. Лишь внук в городе да еще племянник. Туда его и забрали.

— Ты вот съездишь, поглядишь и поймешь, — рассказывал хозяин. — Туда абы кого не берут. Через обком устраивал. Дед туда с охотой. Сначала в госпитале лежал, подлечивался. Ему там понравилось. Вокруг такие же старики. Есть с кем поговорить, не скучно. А возможность появилась в доме ветеранов — он согласился и не жалеет.

— О-хо-хо... — негромко сказал гость. — Дед, дед... Живем, живем...

И на лице его появилась, совсем некстати, улыбка. Глядел он в сторону, в окно, где остывало вечернее небо.

— Помнишь, на пасеке у него жили? — вдруг спросил он хозяина.

Давно то было, в годы мальчишеские, но вспомнилось ясно: опушка займищного леса, голубые ульи, гудение пчел, медогонка... вперемежку ручку ее крутили, и тягучая ме-

довая струя, светлая в солнце, лилась и лилась. И дед, припадая на калеченую ногу, суеился рядом.

Хозяин заварил свежего чаю, гостю налил и себе, хлебнул пахучего питья и сказал, поднимая глаза на Луныкина:

— Я чувствую, ты сейчас на меня грешишь. Понимаю... Мол, дед тебе столько помогал, вместо матери-отца остался. Да, помогал. Много помог. Спасибо ему. Но я-то хочу как лучше. Тоже по-хорошему.

— Для кого лучше?

— Как для кого? Для деда. Ему спокойнее: уход, врачи, ровесники вокруг. Поговорят, потолкуют. Веселей идет жизнь. А здесь он в четырех стенах, один да один. Лишь вечером собираемся. Ему и поесть по-человечески никто не подаст. И с ногой у него совсем плохо стало. В туалет и то... Пока дошкандыляет... Глядишь, обсикается. А там лучше.

— Лучше-то, может, и лучше,— задумчиво сказал Луныкин.— Но зачем вы его сюда тянули? Старушку эту прогнали. Они б, может, жили и жили...

— Кто ее прогонял, она сама ушла.

— Рассказывай...— усмехнулся Луныкин.— Твоя ж на нее шумела. «Уходи! Ты — чужая! — передразнил он.— Хочешь завладать!»

— Но это же правда,— вступился за жену хозяин.— Она и хотела захватить все. Бабаня умерла, и она сразу подлезла. Любовь... В такие-то годы... На пенсию дедову она польстилась да на хату. Вот и все.

После смерти жены к деду приклонилась, тоже одинокая, пожилая женщина. Сначала приходила сварить да постирать, а он в ее хозяйстве помогал топором да молотком. Потом она вовсе к нему перешла. Но ненадолго. Приехал из города внук с женою, и поломали все.

— А сейчас лучше вышло? — спросил Луныкин.— Бабку прогнали. Хату продали... Пять тысяч несчастных...

— Ты чего же хочешь сказать, что мы из-за этих денег деда и забрали?

— Нет, этого я не говорю. Тут, как говорится, бог вам судья. Но деда мне жалко. И конечно, это я прямо скажу, ты не обижайся, раз уж вы забрали его, и бабушку прогнали, и хату продали, то надо было до конца и докормить. Уж коли с места тронули.

— А я тебе еще раз говорю,— начал сердиться хозя-

ин.— Ему там лучше. Там уход, врачи. А здесь — один да один. И некому за ним приглядеть. Он ходить стал совсем плохо. В туалет не дойдет... По коридору — лужа.

— Ну и подтерли бы, какая беда... Сам-то каким был? Не помнишь? Бабка матрацы сушить не успевала.

Давно то было, грех детский, но хозяин, вспомнив, покраснел, проговорил, оправдываясь:

— Это болезнь детская.

— Правильно, детская. А это — стариковская. И ты уж, бога ради, никому не жалься, что он, мол, на пол насикал,— сказал Лунякин, поморщившись.— Не говори, не позорься. Люди и не таких стариков держат. Бабу Ксению помнишь? Калимановы, у школы живут... Она напоследок вовсе из ума выжила. Огород зорит, в доме бедокурит. Поджигала. Тетка Фаина плакала, но держала ее до конца. А Малешкиных дед... Тот вовсе... Старые, они не лучше малых...

— Ты сравнил...— усмехнулся хозяин.— То хутор, он хутор и есть. Там Колю-Хабу держат и Настю-сластуху,— вспомнил он хуторских дурачков.

— А чего ж...— сказал гость.— И Коля, и Настя на месте. Живут...

— Конечно, с родителями...— объяснил хозяин.— Какие ни есть, а родные отец-мать... Своего дитя. А дед, если честно говорить, он кому, он мне лишь родня. А для дочки и для жены кто он? В гости несколько раз приезжали. Вот и все. Они к нему и не привыкли. Словно чужой человек. И он это чуял. Ему тоже несладко, будто у чужих...

— Тогда уж ты виноват,— определил Лунякин.— Так поставил. Дед... Дед — и чужой. А у Коли-Хабы, между прочим, мать его, тетка Татьяна, померла. И Колю Василий забрал, брат его. А Василия жинка, она тоже косоротится. Так Василий сам и в бане Колю моет, а то и стирает... В общем, глядит. Вот так...

Лунякину захотелось закурить. Но не здесь, в тесной кухне, а на воле. Да и чего было пустое толочь.

— Давай ложиться,— сказал он.— Подниматься завтра рано, дорога...

Ему постелено было в отдельной комнате, на широком диване. После ванной он не улегся сразу, а вышел на балкон.

Ночной город лежал во тьме и огнях. А виделся снова дед и почему-то опять на узкой кровати, под серым оде-

ялом, словно покойник уже. Но глаза открытые, живые, глядят в потолок. О чем-то думает. Боже мой...

Потом, через тьму и долгие километры, увиделись свои старики. Теперь, издали, он так жалел их, даже сердце щемило. И не в чем было себя особо упрекать. Но все же... Жизнь, суeta, спешка, дурная работа — все некогда. А они — уже неторопкие. Чего? Да почему? Да не слышу... Иной раз и... сейчас вспоминать горько.

Как быстро время-то прошло... Вроде недавно еще босиком бегал. Отец с матерью дотемна в поле. «Бабаня, вареничков с вишнею...» — «И-и, вишенный... Когда их лепить. Тут делов...» Но лепит. «Дедуня...»

Бабаня... Дедуня... Мамка да батя... Как незаметно время ушло... Как быстро вы постарели... Теперь уж сам отец, а там, глядишь, и дед. И все.

Издали, с городского балкона, словно с высокой горы, виделся хутор — и вся жизнь, как на ладони.

И будто особой вины перед своими не чуял, но думалось не больно сладкое. Сначала о хуторе, о своих, потом снова больничные стены привиделись, одеялко казенное, дед под ним.

Надо завтра поехать, провести. Конечно, расстройство будет, слезы стариковские, но проехать мимо нельзя. Сколько лет знали, и даже родня какая-то дальняя, кажется, по матери. Заехать надо.

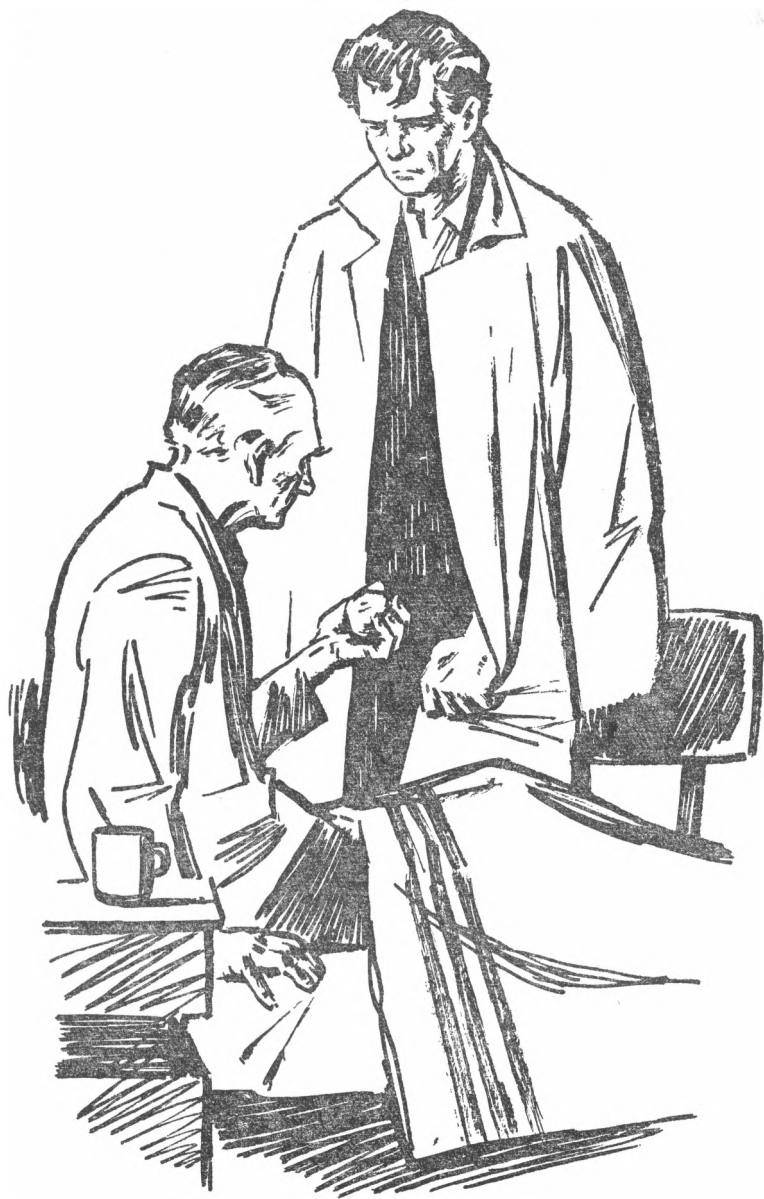
И о другом думалось, об этом доме, где он гостил сейчас. Теперь с ним порвется нить. Все. Сколько было и было: детство, юность и молодость, и в зрелые годы сходились все ближе, дорожили друг другом, казалось, теперь до конца. Порвалось... Конечно, порвалось. Не глядя в глаза друг другу, как жить? Зачем так... Ясно, что порвалось. И это было горько.

Ночью снилось Лунякину детство: мальчишеские годы, купание в речке, костры на берегу — все беззаботное, доброе, но сон был тревожен. И проснулся он будто от испуга.

Утром разговаривали мало. Хозяин торопился, а жена его и вовсе чуть свет убежала на работу. Девочка, хозяйская дочка, с утра гляделась нездоровой. Может, и вправду, она немного хворала, а может, просто росла, тянулась.

— Ты собралась? — спросил ее Лунякин.

— Может, не надо, — вступил в разговор хозяин. — Начнется там...



— Брось...— остановил его Лунякин, все понимая.— Мы ж не совсем глупые. Пусть дите отдохнет. У нас сейчас хорошо. Весна...— сказал он протяжно и улыбнулся, потому что увиделся ему хутор, утренние дымы над хатами, поля, рдяные и сизые талые займища — все разом.— Поехали!

Место, где размещался дом ветеранов войны и госпиталь, Лунякин знал и потому доехал не спрашивая. Девочка, прикорнувшая на переднем сиденье, все поняла лишь в последнюю минуту, когда подрулили к месту и Лунякин стал набирать в целлофановый пакет мандаринов, пряников, яблок, конфет — того да другого из купленных для хутора гостинцев. Пакет уже был полон, когда под руку попала последняя забытая репка, из тех, что он привез в город. Лунякин посмотрел на нее, усмехнулся и положил на самый верх.

— Пойдем,— позвал он девочку.

Та помедлила, но вышла из машины.

— Он плачет,— сказала она, потупясь.— Как приходят к нему, плачет.

— Годы...— вздыхая, объяснил Лунякин.— Старые люди, что малые дети. Так уж устроено. Жизнь...

Это объяснение девочка будто приняла и пошла рядом с Лунякиным, подстраиваясь под его широкий шаг. В пустынном вестибюле они надели халаты. Коридоры были по-утреннему тихи и безлюдны.

Постучав в комнату и войдя в нее, Лунякин тотчас вспомнил свое вчерашнее видение: сырый больничный покой, казенное одеяло. Здесь, в яви, все было по-иному: яркие шторы, голубое покрывало.

Дед лежал, устремив глаза в потолок, и к вошедшим не повернулся.

— Дедуня? — позвал его Лунякин.— Гостей не ждешь?

Старика словно подбросило. Он сел в кровати.

— Вылеживаешься...— шутливо попенял Лунякин.— Как тут поднимешь с вами сельское хозяйство... Прежде все деды работали до упору: на бахчах, в садах сторожевали, арбы делали, сани, колеса, бочки. А теперь — у всех пенсии. Вот вы и залегли.

— Лежим...— оправдывался дед.— Привыкаем к могилкам.

На второй кровати, отвернувшись к стене, посапывая, спал человек.

— Не разбудим? — покосился на него Лунякин.

— Его колом не подыметь,— ответил дед.— Денно и ночью спит. Не то живой, не то уж помер неделю назад.

Старик, еще не поверив в происходящее, смотрел на Лунякина и правнучку удивленно. Гостинцы, которые ему подали, он, не глядя, поставил рядом и вдруг насторожился, приняхался.

— Мандарины...— догадался Лунякин.— Покушай. Я тоже оскоромился.— И подал оранжевый мягкий плод.

Но старик, отложив мандарин, потянулся и жадно понюхал большую руку Лунякина, рукав его пиджака, лицом припадая к одежде.

— Хутор... Хутором пахнет...— проговорил он.

— А-а...— засмеялся Лунякин.— Скотиной провонял, креолином, он вонючий.

Старик явственно слышал, чуял, как пробивается, точно ключ живой, через запахи — больничный, мандариновый, табачный и прочие,— пробивается и веет в лицо родного хутора дух: скотье тепло, печной дым, пахучий навоз, земля весенняя, слежалое сено — а все вместе родины дух.

Лунякин подал репку, сказал:

— Вот тебе тогда. Это уж наше...

Старик принял ее, поглядел и заплакал.

Все вчерашнее, о чем думалось, что ночью грезилось, снилось,— все разом вдруг поднялось в Лунякине, и все ему стало ясно: забирать надо деда, забирать — и никаких. Большой ладонью он стер стариковские слезы и сказал:

— Не плачь. Не плачь, дедуня. Все заживет. Поехали-ка домой. Домой... Там весна, оживеешь.

Он поднял старика, почуяв тяжесть еще не усохшего тела. Поднял и понес на выход, к машине.

Девочка шла рядом.

ТАРЫ ДА БАРЫ

Последнее время жили непросто. Старый дом, который долгие годы казался уютным и теплым, стал вдруг тесен. Когда-то умещались под этой крышей целым табором, как сельди в бочке, а все было хорошо. Теперь остались вчетвером: старая бабушка Люба, дочка ее Полина с мужем да молодая Валентина.

Нынешней весной Валентина вышла замуж и привела в дом прапорщика из местного военкомата. И начались нелады.

То бабушка Люба молодым не угодит, а Валентина фыркнет, то сами молодые чего-нибудь не так сделают. Слово за слово... Скандал не скандал, но жить стали по-другому.

Бывало, вечером сходятся — тары да бары. Днем бабушка Люба одна. Тихо во дворе. Лишь куры татакают, похрюкивает подсвинок, чирикают воробьи — и все.

А летним вечером во дворелюдно. Под крышей сидеть неохота. На воле — огород и сад. Работает насос, льется вода. Кто поливает, кто пропалывает. Бабушка Люба все топчется в летней кухоньке, у плиты. Потом все вместе ужинают. И снова в дом не уходят.

Летние вечера длинны. В доме душно, и телевизор не нужен. Отдыхают на воле, посреди двора, под старой грушей. Рядом цветы: петунии, табак, алая зорька, бархотки — сладкий дух. В конце лета распускаются астры, голубые сентябрины. Спадает жара. Георгины да розы становятся ярче, сочнее, солнце их не палит.

Хорошо во дворе сидеть. Вечереет. Играет в небе заря. Разговоры идут, как да что. Бабушка Люба уличные новости передает, Полина да Валентина — свои. Соседи подойдут. Тары да бары...

Но нынешним летом скамейка под грушей часто пустовала. Или бабушка Люба одна подремывает. Соседка заглянет, скажет: «Не сидите?..» — и уйдет. Иной раз Полина подсядет ненадолго. А молодые — в комнате. Валентина, из дома ли, в дом, пробежит — и все.

Невесело стало. Бабушка Люба посидит, повздыхает. Вечер длинный, а в одиночестве ему вовсе краю нет. Спать идти — еще наворочаешься в жаркой постели. И одной время проводить — тоже несладко. Начинает всякое в голову лезет.

И тогда уходит бабушка Люба в огород, ища там заботу. Или с кошкой беседует. Старая Мурка родилась и выросла на этом дворе, теперь доживала. Нынешним летом, может, в последний раз она принесла котят. Одного ей оставили. Теперь он немного подрос, глаза прорезались. Нечасто, но стал выбираться из ящика.

Мастью котенок выдался в мать: черные, желтые и белые пятна; до материнского молока был жаден, сосал ночью и днем, много спал. Пухленький, чисто вылизанный, он был очень пригляден.

Нынешний день котенок тоже все спал да спал, к вечеру лишь проснулся, из ящика выглянул. Большелобый, он смотрел оттуда, словно дитя из колыбели; глаза круглые, заспанные, непонимающие: где, мол, я и чего?.. Не то мне вылезать на белый свет, не то еще поспать?

Мимо проходила дочь. Бабушка Люба позвала ее:

— Иди, глянь...

— Чего? — остановилась Полина.

— Как дите...

Он так был хорош, этот маленький пушистый котенок, во всей своей детской прелести, так наивно, доверчиво смотрел он в мир. Смотрел, смотрел и зевнул.

Дочь и мать разом заулыбались.

— Дите, оно дите и есть, — задумчиво сказала Полина.

— Дите... — согласилась бабушка Люба, не отрывая от котенка глаз. — Глядит... И все ведь видит, и все разумеет. Только что не скажет.

— Ну уж, разумеет, — не поверила Полина. — Несмысленный.

— Еще какой смысленный, — убежденно сказала бабушка Люба. — Валечка, бывало, вот так-то вот вылезет.

— Какая Валечка? — не поняла Полина.

— Какая... Да наша. Маленькая была Валечка, — объяснила бабушка Люба. — Тоже вот так выглядит. Еще годика ей не было, восемь месяцев. Первый зубик прорезался...

Бабушка Люба вспоминала, Полина с улыбкой слушала,



поглядывая на котенка. А Валентина, их внучка и дочь, шаг от крыльца ступив и имя свое услышав, затаилась и тоже внимала бабушкиному рассказу.

— Совсем малая, а уже задатная. Все дочиста понимала. Проснется и тоже вот так-то вот глядит, по-серьезному. Спросишь: чего тебе? Она за палец схватит ручонками, сожмет и начинает по-своему чегой-то гутарить. И глазами глядит. Бельмечет, бельмечет по-своему, хочет сказать. А я не пойму. Не пойму, говорю, лопота моя, чего ты гутаришь... По-каковски? Она поглядит, а потом ручонками так-то вот разведет в стороны и вздохнет, как старушка: «О-ох...» У меня работы полно: кухня, стирка, починка. Поднимусь уходить, она глядит. Не ревет, а глаза такие болючие. Куда от них? Сажусь рядом, с вязаньем, с починкой. Она уж так рада. Смеется... И минуты не помолчит. И все по-своему бельмечет да бельмечет. По-нашему не владеет, а хочется обсказать. Я головой киваю, вроде понимаю все — показываю вид. Да еще прибатуриваю: верно, мол, верно. Она и вовсе старается, стрекочет, чисто сорока. Да какие-то слова свои, прямо чутко... Вот-вот пойму. А потом снова ручонками разведет и вздохнет: «О-ох...» Я ей скажу, бывало: расти, расти, Валечка, расти, моя лопота. Подрастешь, по-нашему начнешь разуметь, тогда уж мы с тобой нагутаримся. До-олгая жизнь...

Валентина, та самая внучка, о которой шла речь, стояла замерев и каждое слово ловила, каждое слышала. В речах старой бабушки не было ни упрека, ни боли. Лишь в последнем: «...нагутаримся. До-долгая жизнь...» — послышалось что-то...

И молодая женщина вдруг почувяла такую жалость и боль, что защемило сердце. Она отступила, тихо-тихо, чтобы не услышали ее бабушка и мать, отступила и села на крыльцо. «Господи...— думалось ей.— Господи... Какая я дура... Жестокая дура... Мелочи, копеечные обиды... Боже мой...» Слезы подступили, она не вытерла их и, легко поднявшись, в сердечном порыве кинулась к бабушке, подбежала к ней и, склонясь, целуя мягкие щеки, шептала: «Бабанечка... Бабанечка...» Потом села рядом.

Бабушка Люба покивала головой, легко вздохнула, сказала:

— На котенка вот глядим. Проснулся, а матери нет... Вечер стоял покойный, с чистой, ясной зарей. Подошла

соседка, спросила: «Сидите?» — и тоже рядом пристроилась.

Мужчины вышли — Полинин и Валентинин, — курили поодаль, чтобы на женщин не дымить.

Разговоры пошли. Тары да бары...

От цветов наносило сладким духом. Небо розовело, играло алым. И там, высоко в огнях небесных, улетаая в поля на ночлег, нежно перекликались золотоголовые шурки: «Тюрлю-тюрлю... Тюрлю-тюрлю...»

Птичьи голоса плыли над землей, словно далекий серебряный звон.

Темнело. Пора было на покой, а все сидели. Не хотелось уходить.

Скоро осень, ненастье, но пока можно долго сумерничать. Тары да бары...

Дом Солонича стоит посреди хутора, у кургана. Он виден издалека — веселый, в резных в наличниках, ставнях, железная крыша под свежим суриком пламенеет, словно рыжее вечернее солнце.

Самого Василия Солонича трудно на хуторе потерять. Топора ли, молотка его стук, голос пилы днем доносится от колхозной плотницкой, от амбаров, от фермы; вечерами да ранним утром стучит Солонич у себя во дворе. Работы хватает: один в хуторе плотник и столяр. Тому табуретку, тому скамейку, двери ли, рамы связать, творило для погребца, ворота, вдовам да мужикам поплоче — тем и грабли, косье, черенок ли, топорщице — мало ли дел...

Лишь порою сенокосною Солонич заказов не берет. Баб у него в семье много: мать, жена, две дочери, помощник — сын Витька — пока лишь растет. А на подворье коровка, бывает, и две стоят. Хозяин — детистый, коровы должны быть молокастые, значит, сенца им подавай. Да не абы какого, не болотной куги, не бурьяна. Коровы Солонича займищного сена и есть не станут. Подле коров овечки да козы зимуют, а иной раз и бычок — зимнух.

Солонич начинает косить прежде других, в местах укромных. Еще о сене вроде не думают, оно лишь подходит. Выйдут на обережь реки: не цветет трава, рано косить.

Но в степи, на взлобьях, прогретых солнцем, в падинах, глядящих на юг, по склонам балок уже колышет теплый ветер колосок аржанца, издали чует пчела сладкий дух желтоглазого донника и белого буркуна, чилига да вострец, едовый пырей, желтоголовник ждут косы.

В эту пору двор Солонича затихает. По утрам будит детвору петуший крик. Ранним утром, еще во тьме, на старом велосипедишке, с косою у рамы, хозяин исчезает, и вечерами, после работы, нет его.

Нет и нет, день, другой, третий. По хутору пошли разговоры: «Солонич косит...» Где-то видели его: на Ярыженских буграх, в Батыкиной балке и вроде у колхозных

садов. Бабы начинают тревожить своих мужиков: «Солонич косит...»

А пока суд да дело, Солонич уже приволок первой ходкой огромный воз зеленого, на весь хутор пахучего, степового сена. Навьючил на тележку копен десять хороших, не менее. «Беларусь» — тракторенок с трудом подтянул воз к Солоничеву подворью, пыхнул дымком облегченно и смолк.

Солоничева баба и мать вдвоем выводили скирд, переходя с угла на угол, середку утаптывала дочь Ольга. Сам хозяин без устали кидал и кидал косматые пласты легкого, неулеглого сена. Ему помогал ли, мешал семилетний сынишка Витька. Трехлетняя Танюшка топотила мужикам вослед. Солоничевы бабы с трудом успевали.

— Папка! — кричала дочь. — Потише вали! Не балуй!

Порою ее и впрямь заваливало, лишь белый платочек торчал из сенного легкого облака.

— Папка! Не балуй! — сердито кричала она.

— Вали, вали! — подзуживал Витька. — Навовсе ее...

Плыл по хутору бередящий дух молодого сена. Бабы и старики, ожидая на выгоне коз да коров, глядели, как весело зачинается стог на подворье Солонича. Солнце садилось большое, каленое, горели на небе высокие облака, а у Солонича клали стог. Смеялся хозяин, жена да мать его поругивали невсерьез, Ольга совестила: «Папк, ты — как маленький...» Семилетний Витек и малая Танюшка кувыркались на упавших с воза пластах. На них шумели сверху: «Сено не толочите! Отец, чего ты их не прогонишь! Нехай идут скотину встречать...»

Сено сложили в сумерках. Стог, не свершенный и потому кургузый, поднялся высоко. Солонич подставил лестницу, помог бабам слезть. Мать он поддерживал осторожно, с женой побаловал, дочку поймал за руки, она без лестницы, ящеркой скользнула со стога.

— Молодец, хорошо топчешь, — похвалил Солонич. — На тот год на углы станешь, сделаем из тебя стогоправа.

У него на душе было празднично, словно не лежал позади длинный день от белой зари до нынешнего, сумеречного, часа. Было хорошо, как всегда, когда начнешь сено возить. Что ни говори, а позади большая работа. Как вспомнишь: ездил, места удобные приглядывал да опасался, не опередили бы... Как, считай, не спал всю неделю, косил

и косил, с серых утренних сумерек — до работы и потом, вечером, до темной ночи. Косил, переворачивал, копнил и все торопился, поглядывая на небо. Хоть и говорят старые люди, что сена без дождя не бывает, но это при-словье лишь на худой конец, для утешенья. Нынче, слава богу, обошлось без дождя. Первый воз — зеленый, пахучий — на месте. Второй — уже в копнах. И душа — на покое. Завтра привезти, стог завершить, закрыть его — и голова не боли.

Настроение было доброе, и он повторил:

— Витьку на тот год середку топтать, а тебя — сто-гоправом. На всю жизнь специальность...

Он засмеялся, обнимая дочь за узкие плечи, а Ольга вдруг заплакала и кинулась бежать. Солонич не мог ничего понять.

— Доча! — окликнул он.

Но Ольга убежала.

— Она целый день ревет,— доложил Витька.

— Со школой, с отметками,— объяснила жена.— От-метку по математике не поставили.

— Как не поставили? Почему? Она ж вроде... Никто не жалился.

— Всему классу не вывели. По математике весь год... Одна учительница уехала, а другая — вовсе убегла. Вот им и не вывели. Она ревет.

Солонич жены объяснение не больно понял. Дочка с первого класса хорошо училась, не ругали ее учителя. Он недоуменно повертел головой, повздыхал, полез за ку-ревом.

— В бане вода горячая,— сказал жена.— А я пойду доить, ты иди, а то остынет.

— Иду,— ответил Солонич, но никуда не ушел.

Витька успел за сестрою сбегать и, подлетев к отцу, сообщил:

— Разведка докладывает, она на курганике сидит.

— Понятно,— отозвался Солонич.— Ты, Витек, давай к бабке, пускай вечерять собирает.

— Есть! — четко ответил сын, отдавая честь. Он где-то раздобыл военную фуражку и какой уже день щеголял в ней.

Задами обойдя свой двор, Солонич вышел на курганик. Дочка и впрямь сидела там, наверху.

— Доча... — позвал он.— Олянька!



Дочь не ответила, пришлось к ней подниматься.

Курган этот, не больно высокий, кликали ласково кургаником. Старая родительская хата стояла к нему прислоненная, теперь новая — на том же месте. С курганика зимой каталась детвора на лыжах да санках. Летом — молодежь собиралась, по старому обычаю. Правда, теперь молодые переводились. А еще недавно гомонили до зари.

Дочка сидела наверху, обняв руками коленки. Белый платочек светил в полутьме.

— Доча... — подошел к ней Солонич и присел. — Чего ты, дочь? Ты скажи, я ж ничего не знаю толком.

— Я не виноватая... — глотая слезы, проговорила Ольга. — Я все задачки порешала. С Амочаевой Таисой все порешали, нам Таиса Николаевна помогала. Весь задачник. Мы разве виноваты, что нет учителей? И по немецкому, а теперь математика. Из районо приехали — и всем черточки. Оценок не ставить. Вроде мы весь год не учились. Кто нас теперь куда примет? Ни в какое училище... Правда что скирдоправом... Или к мамке на ферму...

Ольга заплакала, ткнувшись головою в коленки. Солонич начал вроде понимать, а дочкины слезы так были ему горьки, хотелось остановить их. Он гладил ей голову, плечи, спину. Как было раньше просто: «У собачки — бо́ли, у кошки — бо́ли, у Оляньки — заживи...» — и подуть на болючее. Теперь — выросла, и так незаметно.

— Доча, ну, не реви... Давай обдумаем. Не реви, а то и я сейчас закричу, да в голос, весь хутор сбежится.

На западе, там, где солнце зашло, было еще светло. Четко виднелись темная зелень колхозных садов, поля с пшеницею, кладбище с могилками. Небо не остывало, ему светить по-летнему долго.

А за спиною, от займищного леса, уже пришла ночь со звездами, редкими голосами птиц, тягучим звоном водяных быков. Странно было глядеть, как борются свет и тьма в небесах, на земле.

Ночь перебарывала. Уже часом спустя на хуторе потухли огни. Стал засыпать и Солонича дом. Первыми забылись ребята. Танюшка, Витек, за ними — Ольга. Хоть и казалось, ее огорченной душе не до сна, но коснулась подушки головой, смежила ресницы — и все отлетело, обида и боль. Уснула и жена. Мать еще брякала посудой у стола, домывала, потом прошла по двору, постанывая и охая.

— Ноги нудят? — спросил Солонич. Он помылся, отужинал и теперь курил перед сном на крылечке, невидимый в тени.

— Руки, ноги... Все мосолики... Либо к дождю.

— Нарекаешь еще,— недовольно проговорил Солонич.— Сено свозить надо.

Мать всю жизнь провела на ферме, при коровах, в сырости да резиновой обуви. Теперь у нее суставы ломили и пухли зимой и летом, про осень да весну не говоря.

В ночной тиши звучно топотил по дорожке ежик. Давно водились ежи на подворье, из года в год. От флигеля, где жила мать на покое, потянуло едучим.

— Натираешь, что ль? — спросил Солонич, не видя, но зная, что мать сидит на крыльце.

— Натираюсь, хоть чуток отпустит.

— Как ты его терпишь, вонючий...

— А твои папиросы слаже...

Солонич засмеялся.

— Ты дюже не горься, мой сынок,— сказала мать.— Господь с ней, с учебой. Была бы здоровая да счастливый замуж. Уже невеста, невидя поднялась...

Это она об Ольге говорила, о сегодняшнем, успокаивая.

— Тут горься не горься,— вздохнул Солонич,— а надо в школу. Поеду, попытаю, чего они там.

— Гляди там не ругайся, по-культурному.

— Ружье возьму с волчиной дробью.

— Никто не говорит. Но все же не колхозная контора, а школа.

— Хуже там, видать, нашей конторы,— сказал Солонич.

Мать поохала, повздыхала и ушла.

За речкою, над займищем вставала краснобокая луна. Солонич докурил. Спать хотелось, тяжелела голова после долгого дня. Но саднила душа, дочку было жаль. Солонич теперь точно знал, о чем слезы.

Учителя математики в школе, считай, весь год не было. Вот и поставили в дневниках вместо отметок лишь черточки. Учителя не было, про это Солонич слышал, но Ольга математику все равно решала вместе с подружкой. Иногда ходили они к кому-то в соседний хутор, к старшекласникам, к старым учителям. Когда как. У девочек были намерения серьезные, педагогический институт или пед-

училище, на худой конец. Математика была нужна. Теперь же оборачивалось дело нехорошим. Надо было ехать в школу, за дочь заступиться.

2

В школу он собрался в обед, надеясь за час обернуться. Управляющего предупредил на всякий случай. Хотел он ехать один, а домой пришел, Витек его ждет в новой одежде, аж светится, словно мытая репа, и Ольга крутится тут же.

— Со мной, что ли? — спросил он детей.

— Мамка ж тебе велела мои документы отвезть? — напомнил Витек.

— Про документы она говорила, — подтвердил Солонич. — А ты разве документ? И ты наскучала? — спросил он у дочери.

— Я заходить в школу не буду, в машине тебя подожду.

— Ну коли так — поехали.

Хоть и брился Солонич по утрам, но на всякий случай еще бритвой пожужжал, вроде красоту подновляя. Шел ему уже четвертый десяток годков, все школьное забылось давно, а вот какой-то холодок страха остался. Пожужжал он бритвой, в зеркало поглядел — вроде нормально.

Как всегда, детишки заспорили, кому рядом с отцом сидеть, возле руля. Но пока мать наказывала, что купить в вихляевском магазине — свой плохо торговал: то и дело замок на нем, — пока с матерью говорил, ребята уже помирились, вдвоем устроясь на переднем сиденье. Светлые их головенки торчали из окошка.

Когда-то, в молодости, и сам Солонич гляделся кудрявым, белокурым. Сейчас посивел, потемнел, под вечной кепкой ничего не видать. Откудрявился. А на ребятишек глянул и вспомнил. Они в него пошли. У Ольги — коса, а все равно тугие колечки выбиваются, у Витьки и вовсе — гребенкой не раздерешь.

— В школу едешь, а непричесанный, — попенял Солонич сыну.

— Мне Олянька расчесывала.

— А почему ж как у барана? — показал Солонич на завитушки.

Витек в автомобильное зеркальце заглянул, потом сказал отцу:

— У тебя тоже такие,— и потрогал под кепкою, на затылке.

Солонич покосился в зеркало — и в самом деле завитки торчат,— ухмыльнулся довольный.

— Мы все же родня. Одного заводу.

До Вихляевского хутора, где размещалась восьмилетка, на машине было рукой подать. Мелькнули колхозные сады, плантации, справа Вихляевская гора началась, слева, в зеленом камыше, озеро. Здесь когда-то, над озерком, стоял хутор Туба. Теперь от него не осталось даже развалин, лишь старые деревья на месте левад.

Садами, сливами, вишней да грушами всегда славилась Тубянский и Вихляевский хутора. Возили в станицу, на базар. Теперь Тубянского нет. Вихляевский, как и прежде, в садах. Домов не видно. Зеленая гущина слив да вишен, а над ними — могучие старые груши: стволы необъятные, просторный шатер листвы.

Подъехали к школе. Когда-то она казалась Солоничу большой, с крыльцом высоченным, теперь съежилась, усохла, словно человек в старости. Серые дощатые стены, сто лет не крашенные, ржавая крыша.

Витек из машины вылез прежде отца, а Ольга осталась:

— Я не пойду, папа. Но ты им скажи, что я все задачки прорешала и все учила. Пусть проверят, если хотят. А без математики нас никуда не примут, как мы будем... Пусть хоть тройки поставят, но чтоб оценка, а не прочерк. А то — немецкого нет, математики нет, на наши свидетельства и глядеть не станут.

Солонич смотрел на дочь и словно не узнавал ее: глазенки строгие и тонкая морщинка лобик сечет... Это лишь на виду. А в душе у нее что? Господи... И лет-то кот наплакал, от горшка два вершка, а уже об жизни загад, горькие заботы.

Солоничу сделалось нехорошо. Себя он почувствовал виноватым. А что мог сделать? Лишь разгладить морщинку на лобике. Он ее разгладил: большим пальцем, словно рубанком, осторожно провел, убирая, и пошел. На крыльцо поднялся суровый, решительный, разжигая в себе злость: «Сидят тут... Зарплаты получают...»

Сына он оставил на крыльце.

— Побудь здесь,— сказал ему.

А сам прямым ходом направился в директорский кабинет. Одним разом он постучал и дверь открыл.

Директор школы, бессменный Макар Алексеевич, по кличке Мичман Макар, был на месте. Мичманом его звали за пристрастие к морскому прошлому. Он когда-то на флоте служил сверхсрочную и потом, в школе, носил брюки клеш и тельняшку. Все это прошло давно, износились и тельняшки, и клеши, осталось лишь прозвище, намертво прикипев.

— Во, еще один прибыл! — завидев Солонича, воскликнул директор. — Математика, да?

— Она самая, — ответил Солонич. — В школу посылаем, надеемся, а дите с пустым дневником приходит. Выходит, год зря шалалась?

— Ну, так уж зря... — охладил его пыл директор.

— Но математика, она же основная считается, — не сдавался Солонич. — И девка моя не ленивая, сами знаете, желает продолжить образование. А теперь как?

Директор сочувственно покивал и сказал:

— Правильный вопрос родитель задает. Вот вы ему и отвечайте. Лично ответь, в глаза.

В кабинете, в углу, возле окна, сидела молодая женщина. Солонич ее теперь лишь увидел.

— Это учительница, какая нас бросила, — объяснил директор. — Кинула и уехала. Вот и спрашивай с нее. Пусть ответит. Ответишь?

— Федор Алексеевич, как вам не надоело...

— Тебе надоело? А мне? Ты убежала — нам расхлебывать. Ты — документы заберешь, а ко мне люди идут. Я глазами моргаю. Это дети! Живые души! — накалялся директор.

— Конечно! — поддержал его Солонич. — Мы думаем, они учатся. Надеемся. Дочка другой день ревет. У нас — душа кровит...

— Душа, душа... — поднялась учительница. — У всех душа появилась. А вы знаете, как я здесь жила? — подступила она к Солоничу. — Сколько я здесь слез пролила? Кто их видел? Я сюда ехала, летела, сама, дура, напросилась, институт не кончила, бросила... Все мне обещали: квартиру, питание. А вы меня как встретили? А? Как вы меня встретили?

Солонич перед горячностью и пристальным взглядом учительницы оробел:

— Да я... Я вас и не знал.

— Вот как... не знали. А ведь я к вам приехала, в ваш колхоз. Ваших детей учить. А меня затолкали в какую-то халабуду вместо квартиры. Крыша течет, холодно. В пальто сидела. А я, дура, забрала себе в голову, думаю, обоснуюсь, маму заберу. Заберешь... А вы знаете, что ваш председатель мне ответил, когда я о колхозной квартире попросила? Дома-то вон стоят. «В доярки,— говорит,— иди. Тогда поселю». И вот так ключами позвенел,— потрясла она рукой.— «Мне доярки нужны». Что? Не так это было? — спросила она директора.— Может, придумываю? А чем я кормилась? Все тухлые консервы в магазине поела. Колхоз называется. Молока литр пожалели. «Государству сдаем»...— передразнила она.

— Я тебе предлагал на квартиру к женщине встать, была бы накормлена. А ты отказалась,— напомнил директор.

— Не нужны мне чужие углы и чужие щи. И вы меня не упрекайте.— Снова подняла она глаза на Солонича.— Не может колхоз учителей держать, учите детей сами. Председатель ваш, бригадир ваш, каланча носатая... «Госуда-арству»...— снова вспомнила она.— Вот так. И ваши бумажки мне не нужны. Обойдусь без них.

Учительница вышла из кабинета, и были слышны ее шаги в коридоре, а потом на ступенях крыльца.

— Вот так,— развел руками директор.— Ты все понял?

Солонич, конечно, не все, но кое-что понял.

— Пацана еще надо бы записать, в первый класс.

— А это там, в учительской,— облегченно сказал директор, у него не было охоты разговор продолжать.

Вышел Солонич в коридор, постоял недолго, потом учительскую сыскал. Ее двери были открыты, и сидели там две женщины. После коридорного сумрака Солонич не сразу их разглядел. А привыкли глаза, узнал свою старую учительницу, самую первую, до четырех классов.

— Полина Ефимовна,— обрадовался Солонич,— здорово живете...

Встречались с учительницей и прежде редко. А теперь — и вовсе. Солонич в Вихляевском раз в год бывал, а Полина Ефимовна, постарев и уйдя на пенсию, редко из дома отлучалась. Когда последний раз виделись, не упомянуть.

— Вася-Василек...— засмеявшись, припомнила Полина Ефимовна.

Назвала его учительница по-старому, по-давнему, и снова что-то вернулось из детства. Солонич спрятал за спину кепку и стоял оробело, потом опамятовал.

— Сына в школу хочу определить,— сказал он.

— У тебя дочка, Оля? А это — второй?

— Наследник. Казак,— подтвердил Солонич.— Отгулял. Теперь давайте ему налыгач.

Другая женщина, помоложе, взяла документы, сказала Полине Ефимовне:

— Вот и все ученики. Можете заниматься.

— Вы опять будете работать? — обрадовался Солонич.

— Нет, нет... Это упростили меня подготовительную группу вести, сейчас, летом.

— Витек! — выглянув в коридор, позвал Солонич.— Иди сюда.

Сын вошел, поздоровался.

— Вот он,— сказал Солонич,— примете такого?

— Возьмем, возьмем, хороший парень,— похвалила Полина Ефимовна.— Еще вежи. А то двое всего.

— Вдвоем будут? — не поверил Солонич.

— Вдвоем.

— Из двух хуторов? Не тесно будет за партами сидеть? Мы когда-то по трое,— вспомнил он.— А тут... Гуляй, батюшка...

— Просторно,— подтвердила Полина Ефимовна.

Записали Витька в школу, сказали, когда приходить. Солонич распрощался, но вместе с ним поднялась и Полина Ефимовна.

Из школы выходили вместе. С крыльца Солонич поглядел на свою машину, дочку увидел и сник: «Что ей сказать?» Полина Ефимовна по ступенькам спускалась осторожно. Солонич поддерживал ее.

— Святая душа на костылях,— посмеялась учительница.

А у Солонича сердце сжалось, когда почувал он немощную, невесомую плоть и на солнце, на ярком свете увидал Полину Ефимовну.

— Я вас подвезу,— сказал он,— до дому подвезу.

— Мне еще в магазин, за хлебом.

— Доедем. Какие дела...

Солонич подогнал машину, на дочерин вопрошающий

взгляд никак не ответил, посадил Полину Ефимовну, подыехал к магазину.

— Ты отвозить пока будешь,— сказала дочь,— я к Тaise зайду. Ты потом посигналишь.

Подруга дочери жила рядом с магазином, а Полина Ефимовна на дальнем краю, в Заольховке.

Хутор лежал просторно, от горы и озера протянувшись до Старицы, до леса. Когда-то он был чуть не станицей: сельсовет и почта, школа и Дом культуры с библиотекой, медпункт, четыре магазина. Жили неплохо, дома ставили под железом. Они и теперь стояли: магазины, дома, подворья, сады. Но торговали хлебом, водкою да кое-чем, по мелочи, лишь в одном магазине, остальные — давно под замком.

Машина проехала по хутору из конца в конец, не встретив живой души.

— Какой-то хутор у вас немой...— сказал Солонич.

— Он как мы,— ответила Полина Ефимовна,— слепой, глухой и немой, в общем, едва дышит.

Остановились у дома учительницы. Солонич вышел проводить ее. Витек резво пересел на отцово место и взялся за руль, подвывая вместо мотора.

Солонич вошел во двор. Глаза его быстро обежали стариковское хозяйство. Дом учительницы обветшал, словно спешил в годах за хозяйкою. Просила починки крыша, конек вовсе развалился, перекосилась дверь, подались в сторону ступени крыльца, к ставням были приставлены жерди. Огород же гляделся хорошо: картошка росла, плелись огурцы, дыбился лук, чеснок, редиска распускала листья, по краям огорода, сторожуха, поднимались подсолнухи да кукуруза — все как у людей.

— Хороший огород,— похвалил Солонич.— По вашим годам очень хороший.

— Копаюсь,— вздохнула Полина Ефимовна.— Куда денешься.

— Огород хороший,— повторил Солонич.— А дому надо ремонт.

— Тут уж не совладаю,— развела руками учительница.

Солонич возил в машине плотницкий ящик, на всякий случай. Теперь он его принес, сказал:

— Пока мы толкуем, я вам подлатаю кой-чего. А то двери скоро уж не откроются.

Нижний крюк из косяка выпал. Пришлось двери снять,



крюк и навес в новом месте ставить, хотя, по-доброму, все полотно двери просило замены, и косяки тоже.

— Ваша дочка,— вспомнил Солонич,— она же учительница. Сюда не собирается, заместо матери бы? Она как?.. Детная?

— Двое уж внуков у меня. На севере живут. На ка-никулы прилетают. Побудут месяц — и нет их. Как во сне,— пожаловалась учительница.

— Далеко забрались,— посочувствовал Солонич.

— Пусть живут. Там хоть и Север, а все условия — и тепло, и светло, и молоко тебе, и мясо. А я вот корову сдала, нет сил, не совладаю с сеном. Сдала свою Розу — и теперь зубы на полку. Щи нечем забелить.

— С фермы не дают для учителей?

— Кому мы, Вася, нужны. Постановление было в газете, мы обрадовались, пошли к Чапурину, к председателю, в райком писали! Не положено — и все. Один ответ.

— У нас так...— согласился Солонич.— Работашь — нужен, на пенсию вышел — никому не нужен. Ни дров, ни соломы.

Наружную дверь он подвесил, укрепил замочную накладку и теперь на крылечко глядел, на его ступени, повторяя:

— У нас — так... та-ак...

— Спасибо, Вася... Не надо больше, поезжай.

Осмотрев крылечко, Солонич решительно взялся за него, отрывая прогнившие боковины. Походив по двору, он сыскал мало-мальски подходящие бруски, стал их резать и меж делом пожаловался:

— А у меня с дочерью беда, Полина Ефимовна, вот получилось...

И он рассказал все, закончив словами:

— Теперь чего? Жалиться куда или как? Жалко девку. Она смышленная и к учебе стремится. Как вы посоветуете?

— Мой совет, Вася, простой: забирай ее отсюда, пока не поздно. Никакого толку тут не будет. Кончилась Вихляевская школа. И тут кому хочешь жалуйся. Старые учителя свое отработали. А других не будет, добрых. Нынче молодым условия нужны. Квартиру им с теплом, а не наши...— со вздохом кивнула на свою хату.— Требуют условия. А у нас — сам себя корми. Так что добрых не жди, какие-нибудь пьяницы или от жены сбежал. Химика вот прислали, он каждый день поперек улицы лежит. И ты Олю

не губи, у ней светлая головка. Отдай хоть на центральную усадьбу, в интернат. Или, может, к родне. На станции нет никого? Там школы, конечно, лучше. И этого малыша,— с улыбкой показала она на Витю, который из машины не вылез, а все гудел там, уцепившись за баранку,— и его бы сюда не стоило. Учителя начальных классов опять нет. Значит, пришлют какую-нибудь десятиклассницу. Протянет он три года, и на центральную. Школу здесь закроют.

— Почему закроют? — не понял Солонич.

— Учеников нет. Ты же слышал? В первом — двое, во втором — трое, в третьем — не знаю, но столько же. Учителей нет, здание разваливается. Через год закроют.

— Да-а-а...— только мог протянуть Солонич, потому что открывалось такое, что не сразу и сообразишь.

Крылечко Солонич поправил, прошелся по нему, топнул, засмеялся:

— Можно плясать...

— Только и осталось,— ответила учительница.

Для ставен крючки и петельки он стал делать из проволоки. Легко молотком постукивал, плоскогубцами гнул, и получалось не хуже фабричных. Приладил, и ставням подпорки стали не нужны. А без подпорок и дом гляделся по-иному.

— Ремонт нужен, ремонт...— сказал Солонич, задирая голову к трубе и крыше.— Сказали б в правлении. Тут на два дня работы и материалов чуток.

— Милый ты мой...— даже прослезилась старая учительница.— Милый ты мой... Спасибо тебе, спасибо за помощь. А детишек своих пожалей.

Обратной дорожкой к магазину ехали медленно, и вновь никто им не встретился. Остановились возле магазинного крыльца, посигналили. Ольга из гостей не торопилась. Солонич вышел из машины, дожидаясь ее.

Хутор лежал в сонном забытии. Дом культуры под высокою крышею, почта, магазин, медпункт, школа — все было рядом. Глаз и слух искали людей, их шагов, дверного стука, детского крика, громыханья ведра, наконец,— искали напрасно. Дремали за плетнями дома, притворив ставнями окна, садовая гущина, конопля да крапива тянулись выше плетней, могучие вековые груши высоко вздымали над землей просторное бремя листвы и ветвей. Казалось, это не груши, не деревья, но древние богатыри в черных латах корья берегут свое недвижимое, сонное царство.

Вышла наконец Ольга, села в машину. Она ничего не спросила. Солонич, встретив дочери взгляд, промолчал.

Когда хутор остался позади, Солонич вздохнул облегченно, словно из больницы вышел на волю, и здесь вздохнул. Впереди виделось глазу веселое: плантация колхозная, бабы на ней — пестрым горохом, потом — сады и родной хутор.

Повернувшись к детям, Солонич хотел им сказать что-то веселое и обмер.

Ольга сидела, чуть голову закинув, и полны были ее глаза слез.

— Дочь, доча... — испуганно проговорил Солонич.

И вдруг болью резануло по сердцу, так резануло, что нечем стало дышать. Солонич, ничего не видя, остановил машину, дверцу отворил, сунулся к вольному воздуху и так сидел минуту-другую. Лицо его сделалось серым, а дышать было по-прежнему трудно.

Потом боль ушла. Солонич закурил. Ничего не понимающая Ольга выбралась из машины и подошла к отцу:

— Что с тобой, папка?

— Ничего, ничего... Сейчас поедем. И ты, доча, ни горься. Все будет хорошо. Вот поглядишь.

Он докурил и поглядел через открытую дверцу на волю: озеро синело, а дальше темнел лес, поля, плантации, сады — ласкали глаз свежей зеленью. Он глядел, и таким пригожим виделось ему все. Пригожим, дорогим. Солонич уже все знал. Пока курил, отдыхивался — все понял. Он знал уже, что в этих местах ему не жить. Отжился...

Теперь предстояло жене и матери объявить. Им будет тяжелее, они — бабы.

Витьке надоело сидеть, и он спросил:

— Чего стоим? Поехали.

Поехали. И путь был недалек. А после Вихляевского родной хутор гляделся городом, чуть не столицей. От кузни шел дымок, рядом вспыхивала и горела синим огнем электросварка, катил на телеге Мишка — конюх, — словом, жизнь текла.

К вечеру Солонич привез второй ходкой остатнее сено. Клали его невесело. Даже малые ребятишки, Витек с Тать-

янкою, бродили вокруг неприкаянно. Татьяна упала, ногу зашибла, горько плакала.

Клади невесело, но сложили. Сверху натянули брезент от дождя.

По обычаю, за ужином бабы поставили хозяину вина. «Такую страсть одолел,— как всегда, говорила мать.— Теперь наша скотина глядит и радуется».

По обычаю, такой ужин за вечерним столом тянулся допоздна. Солонич, рюмку-другую выпив, подробно рассказывал, как косилось, да где, да что, да какие случаи. Вспоминали бывшее мать и жена. В общем, говорили о сенокосном.

Нынче поужинали молча. Вина Солонич не стал пить, поглядел на него, шумно понюхал, поморщился и отставил, сказав:

— Без него голова кругом идет.

Это было принято как знак недобрый.

Поужинали. Солонич закурил. Мать с Ольгой посуду убрали, жена Витьку да Танюшку уложила. Солонич все курил, не поднимаясь от стола, потом попросил дочку:

— Ольга, дневник принеси.

Дочь удивилась, но принесла, встала напротив и глядела, как листает отец дневник, разглядывая его словно впервые. Мать и жена снова сели за стол. Ольга стояла.

Солонич и сам не знал, зачем он дневник листает, разглядывает пятерки да четверки дочерины. Все это видел он. А нынче ныла душа ли, сердце. И этот дневник, отметки его словно утишали боль. Наконец Солонич поднял глаза на родных.

— Так чего будем делать? — спросил. — Садись, Олянька. А то вырастешь, как колодезный журавец, жениха не найдем.

Он обнял ее за плечи, спросил:

— Чего будем делать? А?

Ольга к отцовской редкой ласке не больно привычная, и, оттого что глядели на нее бабушка и мать, Ольге сделалось зябко.

— Я не знаю,— ответила она.— Я старалась. Мы весь задачник прорешали.

— Ладно с задачником,— сказал Солонич.— Так что же будем делать? — спросил он у жены и матери.

Те сидели друг подле дружки и были, казалось, кровной родней. Не в пример худому Солоничу, обе невысокие,



телом статные, круглолицые, и глаза, и темный волос — одно в одно, словно у дочери с матерью. Они и характерами были схожи, до поры вместе на ферме работали, вместе Солонича ругали, когда он вином грешил или в рыбалку ударялся — водилось за ним такое.

— Ты обскажи,— осторожно сказала мать.— Мы же не ведаем. Ты к директору ездил, прибыл тихомолом.

— Сказ тут короткий. В Вихляевке учебы не будет. Едва дышит. Не ныне завтра прикроют навовсе. Полину Ефимовну перевстрел... (Мать с женой закивали, они помнили ее.) Перевстрел, погутарили. Она напрямки заявила: губить детей в этой школе — и все. Не советует там учить.

Заговорили разом и мать, и жена, вспоминая знакомое и слышимое об вихляевских учителях и школе, все недоброе: откуда взялись, да как учены, да как мужчины, с директором во главе, в кочегарке, с истопниками вино пьют на переменах, а потом их оттуда не вытянешь. Они говорили вздохом, со злостью, пока Солонич их не остановил.

— Об чем и речь,— сказал он.— Так чего будем делать?

— Жалиться надо,— твердо ответила мать.— В колхоз и в район, всем миром.

— Мертвому припарки,— махнул рукой Солонич.— Об детях речь. Еще год — и загубится девка. Потом не поправишь.

— Я, папка, может, в интернат пойду, на центральную? — спросила Ольга.

— С таких-то лет, моя внуча,— охнула бабка.

— Бабанечка, другие-то живут. Там и моложе живут, с четвертого класса. Там кормят, кровати есть, белье меняют, телевизор глядят.

— Хвали тюрьму крепкую,— усмехнулась мать.

Подступала ночь. Рядом, в поле, во хлебах, кричал одинокий перепел: «Пить-пити! Пить-пити!» Закатная сторона светила зеленью, желтизной и аlostью. Потревоженное воронье в далекой лесополосе поднялось и кружило, ясно видимое: черные птицы на алом небе. Подходила тихая ночь, с низов, от речки, полоняя хутор. Звезды уже светили кротким небесным светом. По воде, по речке до самого озера, по Старице, по лесным протокам хором гудели водяные быки.

За столом задумались, сидели молча. Солонич нетерпеливо постучал кулаком.

— Так чего?..

— Не стукоти,— сказала мать.— Не за поллитрой бечь. Господи, царица небесная, помоги нам,— перекрестилась она.

— Ты чего молчишь? — спросил у жены Солонич.— Тоже царица небесная?

— В интернат — не хочу,— ответила жена.— От своих рук, от своих глаз дите отпускать. Так и будет сердце кровить. Это вы, мужики, каменные.

— Ну да,— покривился Солонич,— железные. А вы — доброхоты, языком.

— Папа...— тронула его за плечо Ольга.— Не надо. Не пойду я в интернат, буду на центральную ездить. Грейдер недалеко, а там — машины. А зимой наши механизаторы будут на ремонт ездить. Я — с ними.

— Вовсе хорошо придумала,— осуждая, сказала бабушка.— Нынче с цыганами на кобыле, завтра еще с кем. А осень, грязюка — по шейку, зимой перемерет.

Ольга было вскинулась, но не стала перечить. В полутьме белело ее лицо — и все. Не видно было, как она до крови закусила губу, но бисерная слезинка все же скользнула по щеке.

И Солонич этого не видел. Но чуял. Вчерашние горькие слезы, нынешние, та морщина, какую разгладил он на дочкином лбу,— все это пугало его, но чем-то и радовало, взрослеет дочь. И теперь он повернулся к ней, спросил серьезно, словно у ровни:

— Доча, дело нешутейное. Жизнь ломаем. Подумай. Витькина учеба терпит. Танюшкина — вовсе за горами, твоя — криком кричит. Скажи нам: будешь учиться, желаешь? Или абы переходить, время провести? И без учебы люди живут. Мы вот с твоей матерью, бабаня на медные деньги учены, а неплохо живем. И тебя, годы подойдут, пристроим. Даст бог счастья, будешь жить. Скажи как на духу: есть желание учиться, продолжить образование? Не будешь лодыря гонять? А то мы взбулгачимся, тронемся с места...— Он невольно выдал еще нерешенное, то, что было пока лишь в нем, и появилось оно нынче. Появилось и не ушло. Потому что другого пути он не видал.— Думай, дочка. Ты уже не дите. Думай и говори нам.

— Буду, папка. Изю всех сил буду стараться. Вот уви-

дишь... Я выучусь, все одно. И математику догоню, и немецкий. Вот поглядите...

Она заплакала, прильнув к отцовскому плечу. Солонич ее не успокаивал, ждал, потом сказал:

— Иди, ложись, спи.

Ольга послушно встала и ушла. Теперь заплакала мать, уронив голову на грудь. Качаясь из стороны в сторону, чуть слышимо, она стала причитать:

— Господи, да чего же я раньше не померла... Похоронили бы возле отца, лежали б мы вместе, а теперь... Господи, сколько сил поклали, такую страсть подымали... Дом, хозяйство...

— Завели детей,— сказал Солонич,— надо их до ума доводить, в интернаты не распахивать. Хоть и грешите на мое сердце, что оно — ледяное, а в интернат я их не пушу. На станцию будем переезжать.

— Може, на центральную, к правлению, там родни много...— перебила его мать.

— Нет, давайте уж доразу. Центральная... на нее тоже надежда плохая. Завтра она, може, хуже Вихляевки будет. А станция, она при железной дороге, навек. Туда и будем править. Как говорится, мило не мило, а вези, кобыла.

Заплакала жена. Она не причитала, слезы молча лила, но думалось — горше некуда: обо всем нажитом и обжитом, о всем новом, которое ждет.

Солонич не плакал. Он сидел, курил, приговаривал:

— Ничего, пока в силах, устроимся, обвыкнемся, еще, може, лучше...

Жена вскинулась, спросила:

— А куда все это? — и обвела рукой хату, базы, все подворье.— Куда это?

— За пазуху покладем,— зло ответил Солонич.

Жена заплакала в голос. Солонич курил. Хотя изо всех троих горше его никто бы не смог сейчас плакать, было бы можно, так заревел кровавыми слезами. Но он лишь курил.

Той порою возвращался с центральной усадьбы Чапурин, колхозный бригадир и управ — главное хуторское начальство. Он заседал на правлении колхоза, потом у замужней дочери погостил, теперь возвращался.

На хуторе уже спали. Даже синих огней, телевизорных, и тех в окнах не было видать — пора сенокосная, всякий час дорог. Но у Солонича горела во дворе яркая лампа под

колпаком. Солонич вечерами работал и пристроил светильник над верстаком. Сейчас он горел.

Чапурин ехал на машине. Солонич был нужен ему, а поутру можно не застать, укатит косить. Машину заглушив у двора, Чапурин прислушался. Во дворе говорили. Тогда он смело отворил калитку.

— Здорово дневали. Чего не спите? Либо от сена? Или гости приехали?

За столом, у летней кухни, от фонарного света в стороне, сидели хозяин да бабы его: мать, жена. И не было гостей.

— Да так... — нехотя ответил Солонич. — И сено, и тары-бары.

— Я к тебе чего заглянул... Утром давай телятам для лагеря все заготовь. Поставим его возле коров, на старом месте. Я с наряда тебе помогальщиков пришлю. И надо начинать об коровниках беспокоиться. Сходи обгляди. Давай делать по теплу. А то — сено, уборка, а там — зима.

— Я завтра заявление напишу, — сказал Солонич.

— На утят. Решили брать?

— На себя. Переезжаем мы с хутора. Подпишешь заявление?

— Куда собрался? — не понял и потому легко спросил Чапурин.

— Куда, куда... На станцию жить.

— Чего тебе на станцию?

— Ты прям как дите... Или придуливаешься. Переходим мы с хутора, переезжаем в район, на станцию.

С другим человеком говоря, Чапурин бы понял все давно. А здесь глазами моргал и не мог в толк взять, о чем речь: какое заявление, какая станция?

Солонич был трезв, и сам Чапурин вина нынче даже не видал, но словно пьяный шел разговор — каждый себе.

— Рассчитываюсь из колхоза, понимаешь? Уезжаю.

— Кто рассчитывается? Кто уезжает?

— Да я, я... — стучал себя в грудь Солонич.

— Не брешь, — отмахнулся Чапурин. — Плетешь...

— Вот и плетешь, — злился Солонич. — Уезжаем. На станцию. Навовсе. Заявление, говорю, сразу подпишешь или держать будешь?

Крепкого, центнеров на семь, быка бьют обухом по лбу, ошеломляя, чтобы он, в беспамятстве, осел на колени, а там уж — нож ему.

Рослого, тяжелого Чапурина тоже словно обухом стукнуло, когда он все понял наконец. Коленки подогнулись, он сел на скамейку рядом с бабами. У тех слезы уж высохли, а теперь они снова заплакали, не таясь. Бабы слезы убедили Чапурина лучше слов. Он поверил.

— Почему? Что приключилось? Я утром рано уехал, не слышал.

Казалось Чапурину: случилось что-то необычное, страшное. Ведь только оно могло Солонича, самого Солонича, не кого-нибудь, а Солонича с хутора поднять.

Хозяин нехотя начал говорить о школе, о дочери, о математике, о других детях. Чапурин перебил его.

— Ты с ума сошел... — проговорил он. — Правда, что ль? Да нет, это ты с ума сошел... Какая школа? Сошел с ума!

— А ты не сошел?! — взъярился Солонич. Ему нынче некому было высказать, теперь нашелся человек. — Ты был в своем уме?! У тебя — одна дочь. Ты припомни, какой ты муки принял, когда она в городе науки брала. До скольких разов она в институт поступала? А ведь то еще были добрые времена, на школу не жалились. Ты сколь овечек, гусей, индюков, курочек, меду сколь в город отвез? Сколь денег издержал — на городских учителей? Считаю, вновь переучивал. Пойми, я это не в укор тебе вспоминаю. На то ты и отец. Не в укор, но в быль. У тебя, значит, дочь? Ты об ней сердцем болел? А мои — разве найдь? В поле обсевки? Я их что, с дерева снял или с чужой телеги? Я об них тоже горюю. И може, дюжей тебя. Тоже хочу им дать образование, чтоб они в люди вышли и меня потом не упрекали. У тебя одна, у меня — трое. Твоя хоть три зимы, а на хуторе училась, а потом — на близу. Моим — сразу бечь в чужие края. И достатков твоих у меня нет. Ты — при власти. А я — лишь при руках, — показал он руки свои. — А боле ничего нет.

Чапурин слушал, нагнув голову. Сказать было нечего, лишь одно он промолвил:

— Да с твоими руками...

— И я на них надежу имею, — твердо сказал Солонич. — Пока крепкие, надежа на них.

— Солонич, Солонич... — качая головой, проговорил Чапурин. Он все понял, всему поверил, но представить не мог воочию: как это Солонич уедет и не будет его.

— Не сам ухажу, Тимофеич,— мягко проговорил Солонич, величая управа теплее обыкновенного, по покойному отцу. Обычно-то Чапурин да Чапурин. А тут само легло на язык.— Не сам, Тимофеич, ухажу, пойми. Дети уводят.

Снова заплакали бабы. Чапурин поднялся, хозяин его проводил до ворот.

— А как же это все,— показал управляющий рукой на подворье, повторяя вопрос Солоничевых баб.

— Об этом лучше в голову не брать,— честно ответил Солонич.— Пьяным до смерти напьюсь, нехай меня увозят. Чтоб не видать.

— Ты завтра с утра косить? — спросил Чапурин.

— Нет, откосился, привез.

Чапурин поглядел на задворье. Даже сейчас, в ночи, темной тучею, заслоняя половину звездного неба, высился сена стог и пахло сенцом легким, степовым, какое всегда было у Солонича.

— Ладно, пойду.

— Ты заявление подпишешь? — напомнил хозяин.

— Подпишу, о чем разговор... Ох, Солонич, Солонич...— шептал сам себе Чапурин, шагая в темноте.

— Машина-то! — уже издали окликнул его хозяин.

О машине Чапурин забыл. Пришлось возвращаться. Он сел в нее, доехал до дома, поставил во двор. Как доехал, как поставил — не помнил. Словно и впрямь ударили его обухом по широкому бычьему лбу. Вот он теперь не то отходил, не то совсем умом рушился.

Жена услышала голос мотора, стук отворяемых ворот, а шагов на крылечке долго не было. Она пождала, пождала и вышла.

Чапурин сидел в машине, дверца была открыта.

— Либо пьяный? — спросила жена.

Чапурин в ответ лишь вздохнул.

— Точно пьяный. На правлении набрались? Или с зятем? А ведь за рулем сидишь. Задавишь кого, посадят. Вставай! Или тянуть тебя за виски?

Чапурин будто опаматовал, вышел, хлопнул дверцей.

— Откидного принеси. Ирянцу попить.

— На похмел повело,— укорила жена, но принесла молока, развела в большой кружке.

Сидя на крыльце, Чапурин запаленно выглотал кружку, усмешливо глядя на жену. Она приняхивалась, но не могла ничего учуять.

— Либо загрыз?

— Загрыз, загрыз...— подтвердил Чапурин.

По тону, по голосу она поняла, что муж — трезвый, и испугалась еще больше.

— Заболел? Сердце иль чего?

— Солонич уезжает. Поняла?

— Куда он на ночь глядя, сбесился. Либо пьяный.

— Вот вам, бабам, хорошо,— позавидовал Чапурин.— На все один ответ: пьяный — и шабаш. На станцию переезжают, совсем. Дети, говорит, увозят. Вот так...

Чапурину казалось: расскажи он сейчас жене, пожалуйста, она посочувствует — и будет легче. Но жена не поверила.

— Не пьяный, значит, с кем поругался,— твердо сказала она.— Никуда он не уедет.

На том и кончился разговор. Чапурин плюнул со зла и улегся спать. Полежал, поворочался, потом вспомнил, что машину не замкнул, ключи оставил, а нынче на хуторе всяких зятьев да ахарей больше чем надо. Он поднялся.

— Чего ты? — сонно спросила жена.

— Машина незамкнутая.

Чапурин вышел из дому, машину замкнул и вдруг почувствовал голод. Обедал он нынче наскоро, спешил, а ужинать не довелось. Ехал — в животе посасывало, а потом — Солонич, отъезд его, забыл о еде. Теперь вот вспомнил.

Он кухню отомкнул, нашел в холодильнике мясо, взял яичек сырых, хлеба, сел перекусывать. Жена вышла на крыльцо, увидела в кухне свет.

— Ты чего там потерял?

— Да вот, закусить решил.

— Люди добрые, он всю ночь будет шалаться...

Она накинула халат и пришла.

— Вареники я ныне лепила. Будешь?

— Давай покушаю.

— Разогреть?

— Конечно.

— Матерь божия... Люди поглядят, управ либо колдует по ночам, либо деньги считает. Уж спать некогда, скоро корову доить.

Ворчать она ворчала, но разогрела вареники, они зашипели в горячем масле и сметане. Чапурин поел и вареничков.

— Правда, что ль, Солонич надумал уезжать?

— Правда.

— Из-за детей?

— Из-за них. Учеба...

— Завтра надо его попросить, чтоб сделал скамеечки две невысокенькие. И табуретки. Стулья скрипят да ломаются. А табуретки — до веку. И как мы теперь без плотника будем? — спросила она. — Ты думаешь об этом?

Вот об этом как раз Чапурин не думал. Солонич из головы не уходил. Не колхозник, не плотник, а просто человек, какого знал давно, всю жизнь, считай. Прямо стояли перед глазами: Солонич, дом его, подворье, базы да сараи, сенник, огород с поливом, с движком. Другие все собирались, а Солонич поливал какой год. Картошка у него была в кулак. На семена брали.

— Хату он продавать будет? — спросила жена.

— Конечно.

— Кому-то повезет. Правда, заломит цену. Тысяч пять будет просить.

— И пятьдесят стоит, и сто.

— Сто тысяч... — усмехнулась жена. — Где такие деньги? В банке. Тысячи за три, может, продаст.

— Там одни базы.

— Ладно, пошла я спать. Не булгачь меня, христа ради.

Чапурин вспомнил, как Солонич базы свои ладил, и забыл про вареники. Они остывали.

Скотьи базы у Солонича и впрямь были редкостные. Что дубовые, стояны, сохи, лаги — это ладно, это у многих. Стены и потолок чаканом проложены для тепла, окна двойные, шелевка. Это все можно где-то увидеть. Но полы... Сначала это был просто настил, конечно настоящий: не дощечки, не горбыль, а дюймовые плахи. Потом ему этот пол разонравился. Стал он резать пилой дубовые чурбаки. День, другой, неделю — режет и режет. Целая гора чурбаков, выше дома. Режет и обтесывает их в квадрат. Приходили люди глядеть, Солонич посмеивался. Чурбаки приготовил, выкинул полы из коровника, срезал пласт земли и начал ставить дубовые чурки друг подле друга впри-тык, подгоняя и расклинивая, чтобы вплотную, без щелочки. Такие вот полы. Это не паркет, это выше. Паркет — дощечки. Каблуком его хорошенько — и душа вон. Это — Красная площадь, ее брусчатка, где сверху булыж-

ника квадрат невеликий, а вниз идет чуть не метровым стеблем. Мощь. Такие вот полы Солонич в коровнике сладил. Не из гранита, конечно. Из дуба. В ту пору и сейчас сохли дубравы на Бузулуке. Вози — кому не лень. Вот Солонич и сделал.

Люди удивлялись:

— Господи... Какой труд.

Солонич посмеивался:

— Скотина — она тоже... Зато голова не боли. На век.

Сейчас вот Чапурин раздумался. Не-ет, тут не веком пахнет. Тут и через тысячу лет раскопают ученые, будут в затылке чесать. И вряд ли поймут, что это Солонич для скотины своей такие полы сладил. Месяца два работал в упор. Утром, вечером, по выходным. Для всей скотины: для коров, овец, коз; телятам, пороссятам тоже — чтобы уж без обиды. И птице.

Чапурин кухню прикрыл, подергал ручки машины, пошел в дом, но на крыльце остановился.

Высокая луна стояла над спящим хутором. Дом Солонича подле кургана виден был ясно. Он сиял словно игрушечка: крыша на четыре ската, труба с узорчатым дымником, резные ставни, витые столбики крыльца, ворота, скамеечка со спинкой, колодец, тоже с шеломистым навесом и резьбой, рядом — качели для детей: качи-качи, качи-качи.

В лунном обманчивом свете подворье Солонича стояло словно сказочный дворец или сон колдовской, вздохни поглубже — и нет его.

— Когда тебя угомон возьмет? Ты дашь мне ныне покою? — спросила из хаты жена.

— Иду, иду... — ответил Чапурин.

Голову склонив на подушку и уже засыпая, он подумал, как трудно теперь Солоничу, в ночи, в маете бессонной.

Солонич и вправду не спал, но было ему вовсе не тяжело, а легко и счастливо.

Проводив Чапурина, он уселся письмо брату писать. Старший брат жил на станции, уже давно. Солонич написал коротко, чтобы дом приглядел не больно дорогой: за десять — двенадцать тысяч. Были такие деньги. Дом на окраине, чтоб скотину подручней держать, и земли побольше для огорода и сада.

Покончив с письмом, он обошел подворье, проверяя, все

ли заперто. Луна поднялась высоко и светила ясно. Не хотелось спать. Курган за двором, молодая полынь на нем — отсвечивали серебром.

Солонич вышел со двора, на курган полез, но добрался лишь вполгоры. На макушке еще углядит кто, скажет, с ума сошел. Он залез вполкургана, сел на траву. О худом не думалось. Вспоминалось детство, молодые годы. Еще отцовская мазанка под курганом стояла. И здесь, вот здесь хороводились до утра. Солонич старенькой гармошкой раздобылся, наладил ее, заклеил. Играл, а девки припевали. Хорошие в ту пору были припевки.

Ох ты, Васенька-Васек,
Ты мне сердце все посек,
И посек, и порубил,
А сам другую полюбил.

Это про него, про Солонича.

Я — любила, ты — отбила,
Так люби облюбочки.
Так целуй после меня
Целованные губочки.

Это тоже не просто так. Это было. Даже сейчас за сердце берет.

Я иду, она колышется,
Зеленая трава.
Я пою, она не слышит,
Жура милая моя.

Разве не хорошо... Впервые за долгий день теплое проснулось в груди. Такое бывало не каждый день. Когда детишкам что-нибудь ладишь: качели, скворечню, какую-нибудь лопатенку, грабельки делаешь, а они глядят, ждут. Не видишь, а чувствуешь — и хорошо на душе.

Не вставая, Солонич потянулся, поглядел вокруг. Хутор и округу заливал лунный свет. Сияли крыши, поблескивали окна. Дома — словно новенькие, даже старой Чурихи флигелек светил, словно беленный вчера, а тополь-раина серебряным столпом уходил в небо.

Он брату письмо писал и прикидывал: как уезжать, что брать. Хотелось и лодку увезти, мотор бензиновый для полива, трубы, машинку, какой картофель перегонять на крахмал, он ее долго ладил, на весь хутор одна. Сани тоже не бросишь, телега, плужок... Да мало ли... Хотелось целиком поднять и унести все подворье разом.

А теперь, а сейчас об ином думалось. В лунной ночи лежали вокруг поля, тянуло от них хлебной сладостью, дышала пресным теплом речка, над ней пели соловьи. Тореные дороги и тропки бежали во все края. За речку, в займище. А там — колки березовые, дубы... Малые Городбища, Большие — вроде пески, кучугуры да вербовая гушина, а свое. Дальше — лес. На речке плесы: Инякин, Юдаичев, Фетисов, Щучий проран, Лесная Паника, где он рыбачить любил. На Лесной — тишина. Лист на воду упадет, и слышно. А луга... Ярыженская гора, Вихляевская, их балочки, падины: Митякина, Братская, Козинка, Калтуки... Покосы, где он из года в год... На все четыре стороны лежало дорогое, которого не забрать. Родина лежала, где он родился, вырос и хотел умереть. Да не вышло.

Утром Солонич написал объявление: «Продается дом Солонича, Провоторова Василия Аникеевича, на хуторе...» Это прозвище было хуторское — Солонич, еще от дедов. И теперь — Солонич да Солонич, а фамилию знали не все.

Объявление получилось короткое, но понятное. Теперь дочка красиво напишет, он развезет и наклеит на магазинах в Дубовке, Борисах, Ярыженском, Дурновке, Мартыновском. Полетит молва.

Месяц спустя Солонич уехал с хутора. Под конец заказов было много, он и ночью работал, не хотелось людей огорчать, все свои. Но всего переделать он не успел. Многие потом горевали.

Бабки Чурихи в ту пору на хуторе не было. Она приехала от детей под осень. Приехала, узнала и всплеснула руками: «Господи! А кто же теперь на святую нам на гармошке будет играть?» Смеялись над ней до слез. Кому что...

ОСЕННИЙ ПЛЯЖ

1

Поезд уходил ночью. Вещи лежали на вокзале, и с делами уже было покончено. Оставался день, последний день в этом городе. Вечером предстояли прощания, проводы, но впереди был день. И Максим понял, что этот, сегодняшний день именно тот, о котором думал он много раз, а другого может и не случиться в жизни.

И он сел на автобус и через час с небольшим очутился в маленьком поселке.

Они ничуть не изменились, эти домики с красными черепичными крышами, огромные тополя, сейчас роняющие свой желтый лист. И та же тишина стояла в поселке, какое-то безлюдье, покой.

Мимо «пожарки» и магазина, а от столовой чуть наискось, по асфальтовой дорожке, ведущей к пристани, и прочь с нее, напрямую, через парк, который когда-то был парком, но давно одичал, все быстрее, быстрее шел Максим, потому что начинал побаиваться, вдруг уже нет пляжа, вдруг... На дамбу вбежал и остановился.

Перед ним лежала пустая осенняя река. Лишь паром подремывал у того берега да две черные лодки маячили вдалеке.

По красноватым плитам мощеного откоса, через заросли репейника, уже причерненного первыми утренниками, Максим сбежал вниз, к пустынному пляжу.

Печален был осенний пляж, безлюден и тих. Ясное солнце глядело на него не жарким, но еще теплым оком. Белый плотный песок звучно скрипел под ногой. У берега, на отмели, вода была прозрачна и светла, а дальше, вглубь, она все темнела и темнела. И даже глазом чувствовался ее стальной жестокий холод.

Все это случилось вот здесь, на этом пляже, семь лет назад. Максим только что окончил школу с золотой медалью и поступил в институт. И теперь у него был сво-

бодный август, заботливая тетка, в доме которой он жил. И эта река, этот пляж, и никаких дел.

Пляж ему понравился сразу: неширокая полоса чистого белого песка, отгороженная от поселка дамбой и густыми, в человеческий рост, зарослями репейника. По мелководью с визгом носились малыши в своей нестыдной, прекрасной наготе. У самой дамбы в волейбол играли. Кто-то прятался от солнца в репейниках, набросив на их маковки белое полотнище. Максим поплавал, улегся на горячий песок.

— Миша! Мишенька! — раздался вдруг рядом девичий крик. — Елена! Толик! Я вас умоляю! Ну, не умничайте! В воду — и за дело! Мишенька, будь паинькой!

В нескольких шагах от Максима дочерна загорелая девушка, сбросив платье, звала кого-то, кажется волейболистов, а потом махнула рукой и помчалась к воде. Вслед за нею пробежали двое парней и девушка, видно те, кого она звала.

Они вернулись не скоро. Максим уже подремывать начал, когда услышал их голоса.

— Так и запишем, — прогудел мужской. — Лелька сегодня опоздала на два часа. Пр-рогул.

— Ой, Мишенька, не умничай, я тебя умоляю, — отозвалась уже знакомая Максиму девушка. — Елена, это кошмар. Мать собирается на совещание. Я ей говорю: дай, причешу тебя по-человечески. Чего ты из себя сельскую учительницу строишь? Она на меня в крик: дура, говорит, ты, дура! Ну ладно, говорю, я — дура, это не новость. Но я тебе добра хочу, добра! Чтоб ты человеком выглядела. Ну, в общем, уломала... Ты же знаешь, если я за что возьмусь...

— Ну, это изве-стно...

— Кто тут умничают, — остановилась девушка. — А-а-а, Толик. Ладно, тренируйся. Ну вот, значит, взялась я за нее. Сделала здесь вот височки такие, сзади чуть припустила, и наверху так аккуратно. Все получилось миленько. Зеркало ей подаю — она в слезы. Лелька, кричит, ты хочешь меня на весь район опозорить! Я тоже чуть не реву, уговариваю ее. Уже сама не рада. Еле успокоила, выпроводила. И ведь знаете, — вздохнула она, — это я ведь все на свою голову приключений ищу. Завтра припрутся ее подружки. Сегодня обглядят, а завтра жди. Михайловна, а за ней Клавдея эта пришлепает. И запоют: Лелик, Лелик, золотые руки... Так, — холодно обрезала она свою тре-

скотню.— Я стараюсь, информирую вас, а вы, значит, сидите. Чего карты не раздаете? Мишенька, за дело. Хотя стоп! Почему нас четверо? Не пойдет. Из-за кого-то дурой оставаться.

— Да, вроде... Кто ж еще...

— Миша,— шепнула она.— Вот парень лежит. Зови.

— Дру-уг,— пробасил Мишка,— в картишки не желаешь? Не хватает одного.

— Сыграем,— согласился Максим.— А почему не хватает? — улыбнулся он.— Вас четверо, как раз.

— Это игра особая,— внушительно сказал Мишка,— называется «чо-там, чо-там».

— Ну да вроде преферанса, академичка,— усмехнулся второй парень, остроносый, в очках.

— Не умничай, Толик,— сморщилась Лелька.— В твой преферанс и обезьяны играют. А в «чо-там, чо-там» — мы, и никто больше.

Сдали карты. Ходить выпало Максиму. И только бросил он бубновую шестерку на песок, как все разом закричали: «Чо-там! Чо-там?! — и опасливо поглядывали друг на друга, охраняя свои карты и потому боясь нагнуться или пододвинуться ближе.

— Шесть бубен,— засмеявшись, сказал Максим.

И тут пошла потеха: каждый старался свою карту подсунуть, да не только ту, какая подходила, а любую под шумок. И крыли так же свободно — абы не поймали. А уж в чужие карты глаза пялили... Правда, не у всех это получалось. Мишка, большой черноволосый увалень, попросту не успевал за всем глядеть, и его дурили как хотели. И Елена как-то совестливо себя вела: можно было по лицу ее заметить, когда она не в мась кроет или не то поддает. Зато Толик с Лелькой разбойничали всюю. Лелька юлой на песке вертелась: то к одному подвинется, то к другому, а сама мелет что ни попадя, напропалую, лишь бы зубы заговорить. А Толик спокойно сидел, поджав под себя ноги, лишь позыркивал очками туда-сюда да улыбался иногда ехидненько. Они и оставались в дураках нечасто, тогда как остальные...

Наконец Лелька устала, тряхнула коротко стриженными волосами (они у нее светлые были, с рыжиной, не то выгоревшие, не то крашенные) и сообщила удовлетворенно:

— Итак, один — один — четыре — четыре — три. Выяснили уровень. Вам сегодня на танцы можно идти, нам с Толей — бесполезно туда являться. Не полюбят.

— Пожует,— предложил Мишка.

— Ага. Нырнем сначала.

— Я полежу,— отмахнулась Елена.

Лелька тотчас повалилась на песок и принялась щекотать подругу, приговаривая сквозь зубы:

— У-ух, мерзавка ленивая, лодырь... Хватай ее, ребята!

— Отстань, Лельк,— обессиленно хныкала Елена.

Но ее уже подхватили на руки и поволокли к воде. И там, сначала на мелководье, а потом все дальше и дальше вглубь, началась такая карусель с брызгами, криком и хохотом, что даже пацанва в белых панамках беготную свою оставила и истошно визжала на берегу.

Максим тоже купаться пошел, но позади, медленно. Ведь чужим он был в этой компании. И плавал в стороне, хотя нет-нет и поглядывал туда, где его новые знакомые резвились.

Они скоро вышли на берег и начали какую-то еду выкладывать из сумок, рассаживаться. А Максим плавал, пока не замерз, а потом улегся на песок возле воды и лежал, глядел на реку, на веселый шумный теплоход, что проходил мимо, на далекий правый берег.

Услышав шаги, он не обернулся: догадался — это Лелька. Она сказала:

— Чего лежишь, умничаешь? Сказано ж было — о-обед!

Максим отказался:

— Не хочу я... Ей-богу...

— Для того, чтобы играть в «чо-там, чо-там», нужно крепкое здоровье,— ухватила его Лелька под мышки и легко поставила на ноги.— Пошли.

И он пошел за ней.

— Я вроде тебя видела. Ты не у матери учишься? — сказала Лелька.— Каникулы догуливаешь?

— Нет,— быстро отозвался Максим, испугавшись, что его принимают за школьника.— Я уже не в школе, я студент.

— О-ой,— рассмеялась Лелька.— А у студентов каникул не бывает, что ли...

Максим смутился и сбивчиво объяснил:

— Ну, не совсем студент... Да в общем, уже приняли. На первый курс, в медицинский.

— Поздравляю,— протянула ему руку Лелька.— Тебя как звать? Меня Лелька.

— Максим.

— Максим.— Подняла она брови.— Это неплохо, с фантазией.

— А у нас теперь,— громко сказала она, подходя к ребятам,— есть свой врач. Максимчик,— представила она.

— Вовремя, вовремя,— сытно проурчал Мишка.— Что-то аппетиту я лишился. Капель бы мне.

— Кагор по две столовых ложки...— сказал, усаживаясь, Максим, а потом поправился: — По два столовых стакана перед едой.

— О-о-о! — восторженно прорычал Мишка.— Вот это док! Все понимает. Подруга, запоминай.

— Запомнила, стаканом...— И, уложив Мишкину голову к себе на колени, Елена засунула ему в рот помидорину.— Жуй.

Они были как-то похожи, Мишка и Елена, большие, полнотелые, черноволосые. А на Лельку Максим старался не смотреть, потому что знал: погляди он на нее попристальней, да еще, не дай бог, если она на него своими глазницами уставится, тут он и пропал. Не выдержит, смутится, запунцовеет — и тогда конец. Хоть сквозь землю провалились.

Да он ее и так видел, Лельку-то, даже глаз не поднимая, хотя не смог бы сказать, в чем ее особая красота. Нос как нос, лицо как лицо, хорошее. Улыбалась она здорово, белозубо. Или это загар помогал. И глаза были хорошие, добрые. А может, просто похожа была на математичку, на Светочку, в которую все ребята еще с девятого класса влюблены были. И Максим, конечно.

Так, до самого вечера, Максим и старался на Лельку не глядеть. И даже когда домой пошли и он вдруг понял, что им с Лелькой по пути: Мишка с Еленой сразу с дамбы налево повернули, а немного погодя и Толик сказал: «Ну, до вечера, я напрямую», Максим испугался и с Толиком пошел. «Мне тоже здесь ближе»,— сказал он, потому что боялся с Лелькой идти, боялся, и все.

А Толик хорошим парнем оказался, простым, хоть и учился на мехмате, в Москве. И пока они шли, Максим

и про Мишку с Еленой узнал: те жениться хотели на Новый год. А Лелька, оказывается, в Воронеже училась, в технологическом, тоже три курса кончила. Они все здешние, из одного класса.

У магазина Максим с Толиком расстался и к себе пошел. Но опять не прямо домой. От автобусной остановки направо свернул и шел этой улочкой до самой воды. Славная была улица. Дома стояли глубоко во дворах, скрытые зеленью, и лишь кое-где выглядывали высокие красные шапочки черепичных крыш. И каждый дом был наособицу: с балконом, с верандой или терраса его опоясывала. У залива Максим спустился вниз и следующую улицу тоже прошел вдоль. Асфальт тротуара был неровен. Там и здесь его пересекали поперек или наискось невысокие валики, словно вены вздувались под кожей. Это корни тополей, что стояли вдоль улицы, вздымали легкую корку асфальта. Славный был поселок. Никогда таких Максим не видел прежде.

И где-то, в одном из этих домов, жила Лелька. Она, конечно, была уже дома и могла появиться из какой-нибудь калитки или просто во дворе показаться. Какой-то счастливый ужас охватывал Максима при этой мысли. «Не дай бог,— думал он,— она же сразу поймет, зачем я тут шляюсь». Но он и еще одну улицу так же прошел, из конца в конец. Шел, и все. Ноги несли.

Дома тетка его сразу ругать начала:

— Да разве ж так можно! Ушел и ушел. Я уж не знала, что думать.— Она была толстой и доброй и скучала, видно, одна. Муж ее все лето на теплоходе плавал.— У меня вся душенька изболелась. Уж выглядывала, выглядывала. С утра ничего не ел. Да разве ж для того тебя мать прислала! Ведь год за этой проклятой учебой. Пропади она, эта медаль, совсем. Заморилось дите. Надо хоть поправиться чуть.

Так она пела и пела. А Максим за столом сидел, уплетал и не слушал ее. Он о танцах думал, на которые нужно было сегодня идти. Ведь там Лелька будет.

2

Деготная августовская ночь залила поселок. С трудом поднималась над землей тяжелая, густой желтизны луна. Самолет гудел в далеком, вымощенном звездами небе.

Максим поднял голову, пытаясь найти среди холодных россыпей теплую звездочку самолетного огня. И не нашел. Сквозь деревья кое-где светились окна домов, чаще синеватым, телевизорным светом. Тополя вдоль тротуара стояли единой сумрачной громадой. Тяжелы были их мощные комли, а вершины терялись в темноте. В кустах, у подножий, что-то живое копошилось шурша.

Как-то вдруг зябко и тревожно сделалось Максиму в этой темноте. И он заспешил к желтому свету фонарей, которые горели на центральной улице.

А здесь, на свету, была совсем иная жизнь: у автобусной остановки народ толпился, велосипедисты мыкались туда-сюда, степенно прохаживались любители вечерних прогулок, от клуба доносилась музыка.

Максим к танцплощадке со стороны подошел, не от входа, не хотелось первому появляться. Да может, еще и не будет никого, раздумают. Он остановился метрах в десяти от заборчика и начал высматривать.

Танцплощадка была небольшая, но такая же уютная, как и весь поселок. Старые клены стояли вокруг нее и даже внутри. Да прямо на площадке росли два раскидистых клена. И потому над головами танцующих не ночное небо висело, а ветви и зеленый лист.

Заметив среди толпы кудлатую Мишкину голову, Максим сразу осмелел и пошел за билетом.

Мишка и не заметил Максима, он горячо спорил о чем-то с ребятами, зато Елена, скупавшая возле, обрадованно воскликнула:

— Славу богу! Пойдем станцуем. Этот бегемот как о футболе своем возьмется... С места не сдвинешь.

Максим танцевал старательно: как бы партнерше ноги не оттоптать да не толкнуть кого. Впервые ведь он в такой толчее. Но все обошлось, благо танец недолго длился. А когда музыка смолкла, Елена сказала:

— Пойдем к эстраде. Лелька там где-то... Да вон она. И Толик.

— Ну-ну...— встретила их Лелька.— Мишку, значит, побоку. Я-ясно, Елена...

— У Мишки радость, «Спартак» выиграл. Ему не до меня.

— Елена! — всплеснула руками Лелька.— Господи! Ты ж ничего не знаешь! Маманя-то моя приехала с совеща-

ния... Счастливая, аж светится. Лелька, кричит, золотце мое, как мне бабы завидовали! Где, говорят, где прическу делала? Марья Михайловна аж дрожит...

— Так,— желчно произнес Толик.— Эта песня длинная. Пойду-ка вон с той девой станцюю. Что-то она мне нравится...

— Где? Какая? — тотчас заинтересовалась Лелька.

— А вон, блондиночка... Изящная такая.

— О-о-й,— брезгливо передернулась Лелька.— Ну и вкус. Она же вся крашенная. Вечно ты, Анатолий, выберешь лахудру какую-нибудь. Аж стыдно. Ну ладно, иди, наслаждайся. Так вот.— Снова повернулась она к Елене.— Завтра эта преподобная Михайловна, наша любимая, на какую-то пьянку собирается. Ну, и с утра придет ко мне. Причесала чтоб я ее. Поразить она там всех хочет. Я ее причешу... Я ей припомню все сплетни. Я из нее сделаю пугало. И про водку люди забудут, на нее будут пялиться. Она у меня...

— Разрешите?

Два речника в больших фуражках с «капустами» церемонно раскланялись.

— Некогда, некогда, ребята, отдыхаем,— отмахнулась Лелька и хотела продолжать: — Так вот я...

— Отдыхаете? По профсоюзной путевке или дикарями? — начал один.

— Дикарки... Не видишь? — поддержал его другой.

— Ну, тогда, Геша, надо создать девочкам условия для отдыха. Настольные игры, гамаки, передвижную библиотеку...

— Сделаем, сделаем.

Лелька поморщилась и поскучилась сразу.

— Отстаньте, ребята,— попросил Максим,— вам же сказали.

— Еще один дикарь!

— Ну, этого мальчика мы быстро приручим... Цып-цып-цып... Иди-ка сюда,— начал отступать один из речников, маня за собой Максима,— не бойся дядю, пошли-пошли.

Максим, не думая, шагнул за ними.

— Кто, куда, зачем пошел? — появился вдруг Мишка и запел баском.— Ту-ту-ту-ту... Ребятки, не будем портить друг другу настроение и физиономии. Во! — широко повел он рукой.— Какой цветник! Какой выбор! А вы у нас

боевых подруг хотите отнять. Не-е,— мотнул он головой.— Не надо.

Мишкина статья речников отрезвила, тем более что за ним еще ребята подошли.

— Вот так,— поклонился Мишка.— Танцуем,— взял он Елену под руку.— И лучшая команда на свете — «Спартак».

— Пойдем и мы, Максимчик,— сказала Лелька.— Не дали досказать.

Боже, какая это была мука — танцевать с Лелькой! Максим старался вести ее осторожно, лишь до платья дотрагиваясь. Но помимо его воли почти при каждом шаге то рука его крепко ложилась на Лелькину талию, то касался он ее груди, и его тотчас бил какой-то внезапный холод. Он на мгновение деревенел и отстранялся. «Быстрее бы кончилась музыка,— думал Максим.— Быстрее...»

— Ты, Максимчик, прямо как неживой какой-то,— сказала Лелька.— Испугался их, да?

— А чего мне пугаться... Не дрался, что ли?

— О-о, ты храбрый, оказывается.

— Да нет, какой храбрый... Вообще-то неприятно. Первый раз на танцы пришел — и драка.

— Первый раз! — изумилась Лелька.— Максимчик, золотце...

— Ну, почему... — смутился Максим.— В школе, конечно, танцевал на вечерах. А в клуб не ходил. У нас там плохо. Пьяные, курят, грязно.

— А у меня по танцам высшее образование. С восьмого класса здесь околачиваюсь. Мать гоняла... Лелька, кричит, ты меня позоришь! Мне в школе все в глаза тычут. А мы с девками как вечер... Наплевать! Тебе нравится здесь?

— Да,— сказал Максим.— Хорошо.

Ему и вправду было хорошо. За разговором робость прошла. Он попросту забыл о ней. А когда опомнился, рука его лежала на Лелькиной талии и Лелька была так близко, что ее дыхание чувствовал он на своем лице. И на миг, когда его толкнул кто-то сзади, он коснулся подбородком Лелькиной щеки. И долго чувствовал ее шелковистую теплоту.

Танцы закончились в половине двенадцатого. За это время Максим успел станцевать с Лелькой еще три раза. Можно бы, конечно, и чаще ее приглашать, но он боялся, чтобы не заметили. Ведь могли заметить и что-то почувствовать,

и посмеяться. Поэтому с Еленой танцевал, с какой-то девушкой, что рядом стояла (он и лица ее как следует не увидел), и с Толиком болтал, с Мишкой. А с Лелькой танцевал через три танца на четвертый. Так было вроде незаметно.

Когда динамик прохрипел: «Танцы окончены», народ валом повалил к выходу, толкотня началась. Лишь они, вчетвером, не спешили и вышли последними.

Кленовой аллеей, темной, с тусклыми редкими фонарями, дошли до клуба. А здесь, на бульваре, так пронзительно ясно было и светло, будто не для всей земли лился с неба этот белый лунный свет, а только для этого малого пятка, где стояли сейчас они, только для него.

Из провално-черной тополевой тени вынырнул Толик.

— Анатолий, а как же крашенная? — спросила Лелька.

— Несовместимость у нас, биологическая. Пойдем купаться.

— Не, я сегодня не пойду, правда, Елена? — сказал Мишка. — Меня эти танцы что-то укачали. На сон тянет.

— Ты еще там спал. Прислонится ко мне и дремлет. Еле ногами переступает.

— Точно, подруга. Вздремнем сегодня. А завтра, — рыкнул он, — с новыми силами.

— Ладно, пошли, Максим, — позвал Толик. — Быстренько Лельку проводим и... по бабам.

— Правильно, ребятки, — одобрила Лелька. — Чего теряться.

До Лелькиного дома они не дошли, на углу она проводила их.

— Идите. Вам возвращаться. Я здесь добегу.

У Максима чуть было с языка не сорвалось: «Да и мне туда же». Но он вовремя спохватился и поплелся с Толиком назад, чтобы через несколько минут снова вернуться к тому же месту и, теперь уже по-настоящему, идти домой.

Дома, в своей комнате, прежде чем улечься в постель, он встал перед зеркалом и разглядывал себя пристально, вертел головой направо, налево, волосы зачесывал то так, то эдак. Не помогало: он оставался тем же человеком, что и раньше. И ничего красивого или значительного не было в его лице.

В постели, в темноте, ему вдруг сделалось горько: он ясно понимал, что нечего и мечтать о Лельке. Что он ей? Простой парень, почти школьник, деревенский увалень. Но

эта горечь души была недолгой. Она ушла, как только вспомнил Максим, что еще целый месяц будет видеть Лельку, каждый день. Завтра ее увидит и будет рядом. И послезавтра, и еще, и еще...

И эта череда дней виделась ему длинной, бесконечной и такой пленительной, что он засмеялся от радости и закрыл глаза: «Быстрее уснуть, быстрее. Пусть придет скорее завтрашний, счастливый день».

3

В четверг вечером Максим попросил тетку разбудить его пораньше. Какой день собирался он забор починить, да все как-то не получалось: пока выплывешь — солнце уже палит, купаться пора. А вечером только и времени, что поесть, огород полить да погладиться.

Поэтому и решил подняться часиков в семь. Но тетка его пожалела и разбудила позднее.

Солнце глядело в комнату, и возле зеркала, на полу и белой стене дрожали радужные блики.

Максим штаны натянул, наскоро умылся и, вытащив из сарая молоток и гвозди, начал с забором возиться.

— Поешь хоть сначала, горе худое, — ворчала тетка.

— Потом, потом... Вот dokonчу.

Но кончить ему не удалось. Прибивал он штакетину снаружи, когда сзади Лелькин голос раздался:

— Максимчик, золотце, ты чего здесь делаешь? Подрабатываешь, что ли?

Максим повернулся к Лельке, растерянно проговорил:

— Да я... живу... вот здесь.

— Что, что? — задумчиво спросила Лелька, глядя на него пристально. — Ты что же, переехал, выходит? Ты же где-то за магазином... Возле Толика... Ты же с ним ходишь, по пути вам?

Максим потупился, вертел в руках молоток и не знал, что ответить.

Легонько, ладонью, за подбородок подняла Лелька опущенную голову Максима, глянула на его побледневшее лицо, тихо сказала:

— Ну, что уж ты... — и добавила: — Пойдем со мной на рынок! Пошли?

Послушно перебросил Максим через забор молоток, сумку с гвоздями и пошел.

— Максимчик,— мягко рассмеялась Лелька,— а рубашка?

Максим опомнился, оглядел себя и помчался в дом. Через минуту из калитки выбежал, а вслед ему неслось:

— Ты куда не евши! Все же на столе! Господи! Ну что мне с этим дитем делать?!

— Да потом, тетя Маня, потом! — отозвался он.

— Что с этим дитем делать? — покачала головой Лелька и поглядела на Максима искоса.— Первым делом причесать.

Вынув из сумки гребень, она его Максиму не дала, а сама взялась его голову причесывать.

Максим через плечо глянул: не вышла ли тетка из двора.

— Да не крутись ты! — прикрикнула Лелька.

— Мне на совещание не ехать.

— Он еще умничает,— укоризненно проворчала Лелька.— Вот теперь не стыдно и на люди показаться. Пошли.— И протянула ему руку.

Рынок лежал подле пристани, и идти к нему нужно было сначала улицей, а потом через парк, длинной березовой аллеей. От берез на асфальт ложилась легкая кружевная тень; мягкий ропот листвы доносился сверху. Молчание показалось Максиму тягостным, и он, пытаясь вернуть Лельку в обычное веселое состояние, спросил:

— Слушай, приходила к тебе та тетка?.. Ну, материна подруга. Прическу делать. Помнишь, ты на танцах тогда говорила?

Против ожидания, Лелька не оживилась.

— Марья Михална? Приходила, куда же она денется, господи,— скучно кивнула она головой.

— Ну и что?

— Да ничего. Пожалела я ее. И так она страшенькая да пожилая. Ладно, думаю, знай нашу доброту... Подожди, подожди...— остановилась Лелька.— Тебе, может, некогда? А я, дура заполошная, тебя потащила. Ты же что-то там делал...

— Успею.

К пристани подходил теплоход, большой и шумный.

— Быстрей,— скомандовала Лелька.— Сейчас такая толкучка начнется.

Рынок был невеликий. Высокий деревянный забор огораживал его со всех сторон. У самых ворот торговали

солеными огурцами, из бочек. Остро пахло рассолом, укропом.

— А-ах,— шумно потянул в себя воздух и остановился Максим.

Лелька дернула его за руку.

— Пошли.— И потянула направо, где у забора стояли мешки с картофелем. Картошка была молодая, розовая, с нежной, кое-где отставшей кожуркой.

А потом, когда картошку купили, пошли просто так бродить по рынку. Идти с Лелькой — рука об руку — было и хорошо, и несколько неловко, добро хоть знакомых у Максима здесь не водилось.

Прилавки базара ломились, чего только сюда не навезли... Горки крыжовника, крупного, мраморно-зеленого, с белесыми прожилками и помельче, с краснинкой; последняя вишня, темно-красная, почти черная, будто запекшаяся от внутреннего жара; нежная, белесоватая зелень свежих огурчиков, словно сейчас вынутых из душиной полутьмы глухо затененных листвой гряд; и они же мало-сольные, в четвертях, в мутном рассоле, среди густой укропной чащобы; белоголовые сочные луковицы с пучком длинных зеленых стрел; и оранжевые лисьи мордочки морковок; рубиновые, тлеющие под солнцем насыпи красной смородины на ослепительно белых жестяных противнях, а рядом — чернильные горки черной; тут же цветы: садовая ромашка, гвоздика, флоксы, тяжелые георгины и белейшие гладиолусы на длинных упругих стеблях. А в углу, на земле, черные ядра арбузов со светлой пролежью на бочке; один разрезан, чтобы товар лицом показать, и янтарно-желтые осы сидят на нем неподвижно, впившись в сочную алую мякоть. Воздух базара густ и пахуч, как рассол; им трудно дышать.

— Ладно, хватит,— сказала Лелька.— У тебя сейчас аппетит будет... Самое время завтракать.

За воротами они прошли десяток шагов, а потом Лелька вспомнила: «Ой, семечек!» — и потащила Максима к газетному киоску, возле которого сидела бабка с кошелкой.

— Два маленьких, бабуся,— сказала Лелька.

— Берите, внученьки мои дорогие, сладкая семечка.— И пока Лелька Максиму в карман насыпала, а себе кулечек вертела, бабка говорила не переставая: — Берите, милые, такие вы хорошие, я на вас гляжу, аж сердце

радуется. Идете вы по-хорошему, за руки взявши. Другие вон, с пароходов, обхватят друг дружку за шею, прилюдно и ходют. Глядеть на них срам. А вы такие славные...

— Ну, спасибо, бабуся,— засмеялась Лелька.— Хоть от тебя доброе слово услышать.

— А чего ж не сказать! Хорошее — оно всегда хорошо.

Солнце начинало припекать. Двое пацанов катили по улице надутую автомобильную камеру, видно купаться спешили. Глядя на них, Лелька сказала:

— Ты там не канителься. Раз-два, и заходи за мной. Вот мой дом, третий от угла. Лавочка — видишь, желтая?

— Вижу.

...Через полчаса, когда он за Лелькой зашел, на этой лавочке, на желтой, сидели две женщины. Поздоровавшись, он сказал:

— Я к Леле. Можно ее?

— Ле-о-олька! — крикнула высокая сухопарая женщина, на Лельку вовсе не похожая.— К тебе пришли.

— Лечу-у-у! — донеслось из двора.

Женщины глядели на Максима.

— Присаживайтесь. Вы в каком институте?

— В медицинском,— ответил Максим, но садиться не стал.

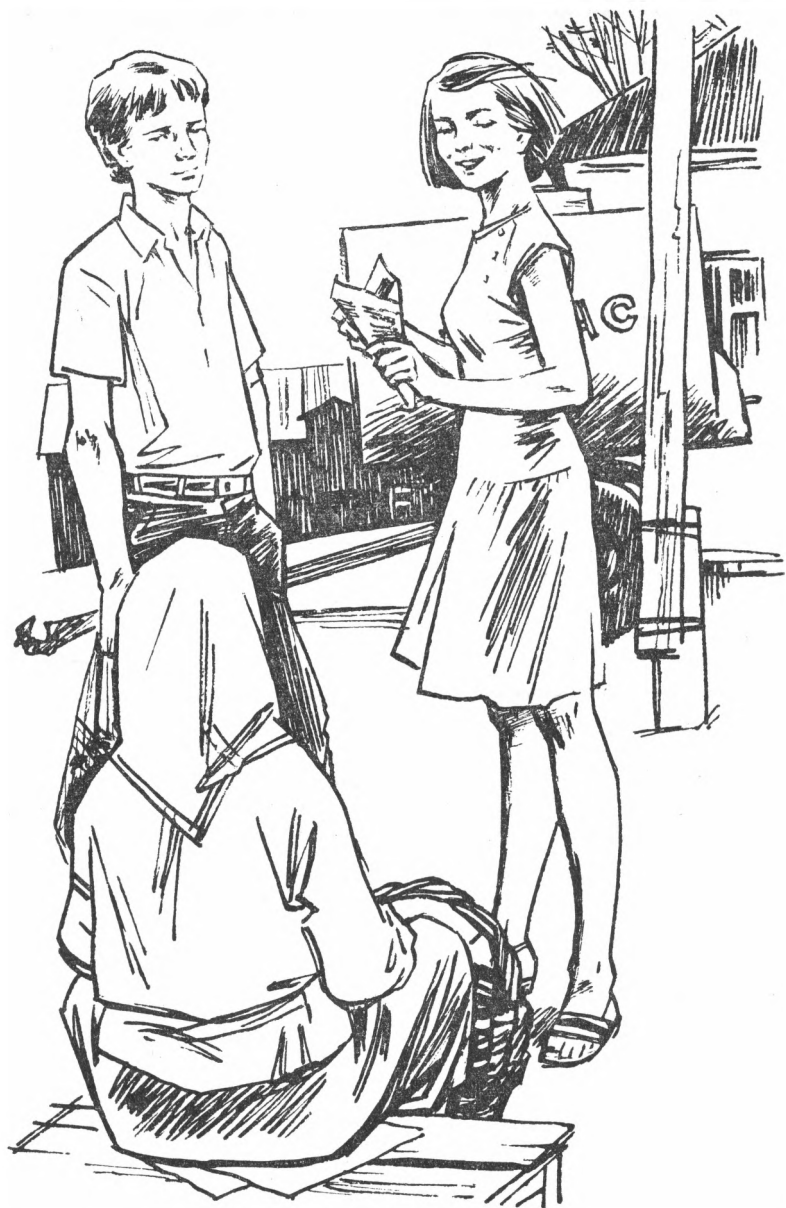
— Очень, очень благородная профессия. Я так мечтала, что Лелька станет врачом. Так просила ее...

— А я разбила хрустальную мечту твоей жизни,— проникновенно сказала Лелька, выходя из калитки.— Ох, я — мерзавка... Подлая я...

— Леля, Леля,— укоризненно произнесла мать.— При Марье Михайловне...

— Марья Михайловна меня знает всесторонне. Она же мой учитель,— скромно и душевно ответила Лелька и кивнула Максиму: — Пошли.— А шагов через двадцать процедила сквозь зубы: — У-ух, зануда... Только и знала, что подглядывала, подслушивала да сплетни разносила. И в самом деле,— усмехнулась она,— меня в мед прямо кнутом гнали. Такая кампания началась. Господи. А я ж трусиха. Крови боюсь. А мертвых... У нас в школе один мальчишка утонул. Мы его хоронить ходили. Так я потом месяц по ночам, как дура, вскакивала и орала. Снится он мне, и все. А ты ничего не боишься? Больных, крови...

— Вроде нет...



— Да-а,— махнула Лелька рукой.— Откуда ты знаешь? Вот пойдешь на практику, посмотрим, как запоешь.

— Я уже был на практике.

— На какой практике?

— В больнице работал.

— Чего, чего? — остановилась Лелька.— В какой еще больнице? Чего плетешь?

— Ну, понимаешь... Я вот тоже так думал: думаю, может, испугаюсь, может, не по мне это. Ну и после девятого пошел. У нас больница недалеко. Километров сорок. Наша больница, совхозная. Там я и работал, санитаром. Три месяца. Там главврач хороший, Яков Алексеич. Я ему все рассказал, и он меня взял. Все каникулы работал.

— А чего ты там делал? — тихо спросила Лелька.

Максим взглянул на ее серьезное, несколько даже испуганное лицо и расхохотался:

— Оперировал. Р-резал!

— Ты-ы, постой-постой... Тебя спрашивают, так ты не умничай, отвечай: что ты там делал?

— Ну что санитары делают? Да все... Полы мыл, убирал, кормил кого надо. «Ня-а-ня! — тонко прокричал он.— Су-удно! Ня-а-ня! Забери горшок!» Дышать нечем! Работы... Успевай поворачиваться.

— О-ой,— затряслась в беззвучном смехе Лелька.— Ой, меня там не было. Я б тебя загоняла. Ня-а-ня-а! — передразнила она.— И что, понравилось тебе?

— Кому ж понравится санитаром! Чего там хорошего. Просто посмотрел, прикинул.

— И умирали у вас?

— Умирали. В мое дежурство двое. Одного трактором придавило. Он так в себя и не пришел. И еще парнишка маленький.

— Не надо,— замахала руками Лелька.— Не надо, не надо мне это рассказывать,— передернула она плечами.— У-ух, раздавило... Даже холодно как-то стало. Пойдем.

Они замолчали. Лелька что-то хмыкала себе под нос, поглядывала на Максима, потом спросила:

— Слушай, Максимчик, ты только не обижайся, ладно? А вот по-честному: не скучно все это, а? Или, может, ты притворяешься? Вот тебе семнадцать. В прошлом году

шестнадцать было. А ты так серьезно, по-взрослому размыслил. Все взвесил, решил. В общем, всю жизнь распланировал, с пятнадцати-то лет. Как-то это у меня в голове не укладывается. Вроде это... По-стариковски как-то, не по-молодому. Правда, я по себе, конечно, мыслю. Я-то шутоломная. Но все равно... что-то... Ты не обиделся, Максимчик?

— Да что обижаться,— ответил Максим.— Я привык. Меня в школе тоже... Как-то не очень... Ну, в общем, не любили меня,— махнул он рукой.— Зубрила, сухарь... Вылезти хочет. На танцы не ходит, на улицу тоже не очень. Ну, а что было делать,— невесело усмехнулся он.— Я же в медицинский шел. А там конкурс, сама знаешь. Там городские идут, ой-ей-ей головы, не мне чета. Это не сельхоз да не пед. А я должен был поступить сразу. Вот и приходилось сидеть. Как же еще по-другому. Из нашей школы в сельхоз, и то через год-два, по одному человеку поступали. Хуторская школа. То учителя нет, а то есть, да такой, уж лучше бы не было. Спасибо, сестра у меня, двоюродная, в Минске. Она мне книги посылала, помогала здорово. А английский... Ой, лучше не вспоминать...

— Максимчик, золотце, ну, прости. Не обижайся. Я ж не знала. Не обижайся, ладно?

Она схватила его за плечо и остановила и, так же как утром, легонько, ладонью подняла его опущенную голову за подбородок. И лицо у нее было такое милое, виноватое...

— Чего ты извиняешься,— сказал Максим.— Ты спросила, я ответил, да и все.

— Вот и хорошо. Во-о-от и-и хо-оро-шо-о! — запела Лелька.— Вперед! — крикнула она и схватила Максима за руку.

И помчались они по дорожке, потом вверх по откосу, на дамбу, а потом вниз, через заросли репейника, на белый песок пляжа.

Максим правду сказал: он не обиделся. Но легкое, чуть пьянящее голову, счастливое возбуждение, что появилось с утра, оставило его. Он начал в волейбол играть, но вдруг расхотел. Побрел к реке, лег у самой воды и глядел, как маленькая девчушка в красных трусиках строит что-то из мокрого песка, вроде дворец.

Белыми слепящими бликами покрыта была полуденная река. И теплая вода ее расслабляла тело. Максим заплыл

далеко и, глубоко вдохнув, нырнул, ушел вниз, стараясь достать дно. В ушах зазвенели тысячи электрических звонков. Прохладные, ласковые струи гладили тело, а ногам уже было зябко от придонных ледяных ключей. И Максим рванулся вверх, шумно выплеснулся над водой, жадно схватил ртом воздух и снова ушел вниз, ко дну. Так он нырял пока не замерз. И вылез на берег продрогший. Добежав до своих (те уже кончили играть в волейбол), упал на горячий песок, прижался к нему всем телом, с наслаждением принимая в себя его жар. Сначала животом и грудью, а потом на спину опрокинулся. И стал глядеть на Лельку, она рядом сидела.

— Ты чего-нибудь поновее придумай,— лениво говорил Мишка.— Ваш брат математик осточертел уже. На всех перекрестках орет: «Мы — самые главные! Мы то сможем и то сможем!» Надоело, брат.

Шел старый спор: Толик опять приоритет точных наук доказывал.

— А они боятся,— поддержал Мишку Максим.— Если они кричать не будут, люди могут забыть, что математики — самые-самые... И на них вся надежда.

— Еще одна жертва,— поднял голову Толик.— Тебя я одним ударом.— Он поправил очки, и на тонких его губах заиграла с трудом сдерживаемая улыбка.

— Давай.— Максим глаза прикрыл и сквозь ресницы глядел на Лельку.

— Амосова знаешь? — спросил Толик.

— Хирург. Киевлянин.

— Он самый.

— Читал.

— Он для тебя авторитет?

— Конечно.

— Ну, так вот. Ты, надеюсь, знаешь, что он пришел к кибернетике. Не куда-нибудь, а к нам, математикам, пришел. Понял, что все эти простукивания да «покажите язычок» — все это каменный век-с. И что диагностические машины — спасение для медиков.— Толик на колени вскочил. Стекла очков его яростно сверкнули солнечным бликом.— А вы будете при этих машинах операторами. Ха-ха-ха-ха! Приведете человека, в креслице посадите, нажмете кнопку. Машина сделает анализ, подумает, подаст пациенту таблетку или укольчик ему — оп-ля! Выноси говенью!

— Не-а,— вздохнув, ответил Максим.— Перегибаешь. И вообще, мне это не очень нравится. Если я заболēju, то я не хочу, чтобы меня умная, бездушная железка лечила. Мне нужно, чтобы человек подошел, руку вот так на голову мне положил.— Он, как-то не думая, машинально, взял Лелькину руку, положил ее себе на лоб.— Положил и сказал: «Товарищ, родной мой, что с тобой?» И мне уже легче.

Он глядел на Лельку, а она наклонилась к нему, не отнимая ладони, низко наклонилась и спросила:

— Максимчик, милый, что с тобой?

Лицо Лельки было совсем рядом, и смотрела она так добро и ласково, что у Максима сладко перехватило горло, кажется, даже слезы подступили к глазам. И он зажмурился.

— Все это, простите, не довод, а сантименты, лирика,— с зевком ответил Толик.

Лелькина рука скользнула по лицу Максима, по впадинам закрытых глаз; а он лежал и не знал, как ему теперь подняться, как на Лельку взглянуть.

— А-ах, не довод! — зарычал Мишка и, бросившись на Толика, подмял его под себя.— Не довод? А ну, повторяй за мной: математика — это глупость, засорение мозгов и лишняя преграда перед стипендией.

Толик из-под Мишкиной туши вывернулся, но Елена его схватила, и Лелька пришла на помощь, и Максим. И тут началась такая кутерьма, что уж непонятно было, кто за кого и кто против, и чья это рука, нога, голова. Живым клубком покатались все вместе к воде и там еще барахтались на мелководье, пока Елена не завизжала:

— Утопите!

Тогда уж в «догонялки» стали играть.

Чиста была речная вода, чиста и прозрачна. Тяжелый донный песок не вздымался под ногой дымной мутью, и потому, нырнув и открыв глаза, можно было увидеть в двух метрах или чуть далее высвеченное солнцем тело. Этим Максим и брал. Он хуже Толика и Лельки плавал, а Мишка умел как-то хитро от погони уходить: нырнет, ото дна резко оттолкнется — и торпедой в сторону, снова нырнет — и уже в другой стороне. Не за одной же Еленой гоняться. Вот тут-то и помогало Максиму его умение под водой глядеть. Вслепую можно и проворонить, когда мимо тебя или внизу кто-то проскочит, а здесь что-то увидишь, мелькнет. И тогда уж не зевай, догоняй.

Первой в этой сумасшедшей веселой игре обычно Елена сдавалась, за ней Мишка уходил; а уж Лелька с Толиком и Максим, втроем, чуть не до тошноты ныряли. И воды наглотаются, и в глазах рябит, а все не сдаются. Но сегодня Толик ногу о ракушку порезал. Остались Лелька и Максим. Лелька убежала. Она бросилась от берега вглубь, а потом нырнула. Максим заметил, что ноги у нее вправо ушли, значит, туда и пойдет. Он тоже нырнул вправо, наперерез, и, открыв глаза, стал глядеть. Желтоватая, прозрачная зыбкость стояла перед глазами. Проплыв немного, он увидел Лельку, вернее, не ее, а темное, тоже размытое пятно. Он подплыл ближе. Лелька лежала на светлом донном песке, лицом вверх, чуть-чуть подгребая руками, чтобы не всплыть. Глаза ее были закрыты. Максим решил пошутить. Он медленно, работая только ногами, чтобы воду не тревожить, подплыл к Лельке и потянулся ртом к ее уху, хотел крикнуть, испугать. В последнее мгновение, когда лицо его приблизилось к Лелькиному, словно в беспамятстве, он вдруг прижался своим лицом к Лелькиному и губами нашел ее сомкнутый рот. Лелька раскрыла глаза. Руки ее метнулись к Максимовым плечам и оттолкнули. Максим рванулся вверх. «Нечаянно, нечаянно», — билось у него в голове. Но он понимал, что это невозможно объяснить и поверить этому невозможно. И теперь всему конец...

Лелька вынырнула вместе с ним. Рывком головы отбросив волосы, она стала глаза протирать, видно вода попала. Максим обреченно ждал. «Может, подумает, что я нечаянно», — безнадежно успокаивал он себя. Лелька подплыла ближе, чуть закинула голову от волны, сказала:

— Интересно, — а потом, рассмеявшись, крикнула: — Нырнем! — И выбросила из воды навстречу Максиму руки.

Нырнули неглубоко и почти тотчас же выплеснулись из воды. И в это короткое мгновение Максим успел подтянуть к себе Лелькину голову и неловко, но все же нашел ее губы.

— О-ой! — вскрикнула, выныривая, Лелька и закашлялась, а прокашлявшись, тихо сказала: — Вдохни глубже. Погружение.

Теперь они ушли вниз, на дно. И тела их прижались друг к другу, и потому совсем легко было найти Лелькин рот, и приникнуть к нему губами, и замереть. Они чуть

было не всплыли вот так, вместе. В последнее мгновение Лелька успела оттолкнуть Максима.

И снова они уходили от людей, от солнца, в свой мир, где были вдвоем. И снова, и снова... Пока Лелька не прошептала:

— У-ух, я больше не могу... Потону...

На берегу Мишка спросил:

— Вы чего фокусничали? Нырять да нырять. Елена уже спасать собралась.

— Максимчик меня учил под водой глядеть,— спокойно ответила Лелька.— Хорошо все видно. Только глаза режет.

— Ты что, сумасшедшая! — всполошилась Елена.— Глаза будут красные, вот увидишь!

— Ну и пусть,— сказала Лелька и вытянулась на песке, спрятав лицо в квадрате скрещенных рук.

4

Максим приготовил для Лельки сюрприз: поднявшись чуть свет, он сбегал на рынок, купил большой арбуз и закопал его на пляже, глубоко, в сырой, прохладный песок. А потом, дома, за завтраком, улыбки сдержать не мог. Тетка смотрела на него недоуменно, себя оглядывая.

— Чего смеешься? Надо мной, что ли?

— Не-ет...

Максиму представлялось, как сегодня, в самую жару, Лелька скажет: «Эх, арбузика бы, холодненького!» Она любила арбузы. И тогда Максим поднимется и принесет. И он уже сейчас радовался той счастливой улыбке на Лелькином лице.

А тетка глядела на него, лишь головой качала.

В половине одиннадцатого Максим подошел к Лелькиному дому. Калитка была распахнута. В глубине двора Лелькина мать сидела на корточках перед цветочной клумбой.

— Лелю можно? — поздоровавшись, спросил Максим.

— Лелю...— поднялась мать и шагнула к калитке.— Разве вы?.. Они же поехали на рыбалку. Они еще вчера собирались. Миша и Лена, с ними Коля, Валерик. Вы их знаете? Все поехали.

Максим растерялся и потому не сразу ушел.

— Как же...— проговорил он, не веря, что все услышанное — правда.

Лелькина мать пожала плечами.

— Вечером обещали вернуться. Поздно,— добавила она и улыбнулась.

И эта улыбка отрезвила Максима. Он повернулся и пошел прочь. Конечно, она смеялась над ним. Лелькина мать. Она откровенно смеялась над Максимом, все понимая.

Вот и все... А он, дурак... В карты играть, когда партнера нет,— пожалуйста. На танцы — тоже. В догонялки... Не мешает — и ладно. А если может помешать, как сегодня, то не нужен. Зачем им чужой, лишний! Тем более какие-то Валерики, Коли, друзья. А он — лишний, чужой. Мальчишка, школьник. Разве можно всерьез его... Позволяли быть рядом, не гнали — скажи спасибо.

«А как же Лелька? Не может быть,— подумал Максим.— Не может быть! Лелька не могла его обмануть. Наверное, она заходила к нему, когда он на рынок да на пляж с этим дурацким арбузом таскался. Конечно, заходила! А тетка забыла ему сказать. Конечно, могла забыть! Она же всегда за голову хватается: «Склероз! Склероз!»

И Максим побежал домой. Но тетка лишь руками развела: никого не было, разве б она... А что случилось?

Максим ничего объяснять не стал. Конечно, его не взяли. Он был не нужен.

И снова он побежал. Быстрее, быстрее! Он бежал к пляжу. Туда... Там, слева, у заросшего тальником мыса,— лодочный причал. Может быть, еще не уехали?! Максим понимал, что не надо ему туда бежать. стыдно идти и напрашиваться. Но против своей воли бежал. Он хотел быть с Лелькой. «Ничего,— думал он.— Я вроде нечаянно. Подойду. Они увидят. Может, они просто забыли сказать, а теперь жалеют. А я даже подходить не буду, я издала. Меня позовут. И все хорошо будет».

Пляж был пуст. И мысок, возле которого стояли лодки, тоже безлюден. Никого. Лишь мальчишка рыбачил с лодки, с кормы. Вот и все. И некуда было больше спешить, торопиться, нечего думать. Все ясно.

Недалеко от берега наполовину торчала из воды бетонная плита. Максим устроился на ней.

А день стоял хороший, ясный, почти безветренный.

Вода на отмели была так прозрачна, что легкие пологие волны невидимо катились к берегу. И лишь на песчаном дне зыбилась золотистая сеть солнечных бликов. И даже от гальки, брошенной в воду, словно бы покойной оставалась прозрачная гладь. Лишь по светлому дну бежали от камня золотистые круги, один за другим.

Стайки рыбьей молодежи бродили возле плиты, выискивая корм. Иногда, при резком движении или повороте, то одна из рыбешек, то другая, подставив чешуйчатый бок солнцу, вдруг вспыхивала ослепительной серебряной вспышкой. И тут же гасла, продолжая покойный свой ход.

Максим и на рыб глядел, и в небо, а чаще на тот берег, далекий, с кудрявой зеленью. Пробегал он по нему взглядом, но ничего не мог разглядеть.

Мальчишка-рыбак все еще сидел с удочкой. Максим подошел к нему, залез в лодку. В полузатопленной корме ходили несколько плотвичек и окуньков, выказывая из мелкой воды черные спинки.

— Хочешь, порыбаль, — сказал мальчишка.

— Давай, — обрадовался Максим.

Мальчишке было лет десять; выгоревшие волосы, грязная майка, подвернутые штаны.

— Не дергай, жди, когда поведет, — сказал мальчишка. — Такая мудрая пошла, гадость. Прямо ученая. — Он макал горбушку хлеба в воду и сладко жевал. А потом растянулся на корме, зевнул, покосился на поплавок. — Чего ей надо? На хлеб не берет, на червя тоже. Видно, вся на глубине. Вот в прошлом году...

Мальчишка оказался словоохотливым. Он рассказывал об удачах своих прежних, о какой-то особой наживке, про которую ему городской рыбак поведал, об огромных щуках и судаках, что здесь водятся. Максим слушал, поддакивал. Так они и беседовали.

Вдруг мальчишка приподнялся.

— «Прогресс», — сказал он. — Во прет! Мотор «Вихрь» стоит. Глиссирует. Такую бы лодочку...

Моторная лодка резко бежала к берегу. И Максим узнал Лельку, она сидела на передней скамье. А у руля — незнакомый парень. Лодка ткнулась в песок, и Лелька выпрыгнула из нее.

— Ну, теперь довольна? — спросил парень и покачал головой. — Ой, Лелька, Лелька, мудрая ты девка...

— Ладно, извини, — сталкивая лодку на воду, ответила



Лелька.— И поменьше мне там косточки перемывайте. Чтoб не икалось.

Парень рассмеялся, вырулил от берега. А Лелька усе-лась на песок и стала глядеть на Максима.

— Здравствуй, Леля,— опомнился тот.

— Здравствуй,— серьезно ответила Лелька.

— А я заходил... Мать сказала — на рыбалке... Все... Вечером приедете.— Максим не знал, что ему говорить, но и молчать не мог под этим странным пристальным Лелькиным взглядом.— Я арбуз принес... С утра еще закопал. Он холодный теперь. Хочешь?

— Хочу,— кивнула головой Лелька.

Максим из лодки выбрался, протянул Лельке руку. И они пошли от лодочного причала, мимо бетонной плиты, полузатопленной, по белому песку пляжа.

Безлюден был пляж. Даже малышей из детского садика сегодня не привели почему-то. Лишь там, на мысу, сидел мальчишка-рыбак, склонясь над удочкой.

Лелька осмотрелась вокруг, чуть задержала свой взгляд на рыбаке-мальчишке, а потом повернулась к Максиму и сказала:

— Поцелуй меня. Быстрей. Или ты только под водой смелый? — и оглянулась воровато.

* * *

Шел август. Ясный яблочный август. И все было как прежде: белый пляж и светлая река, иногда танцы по вечерам на зеленой уютной площадке, ночной поселок, обморочно-тихий, погруженный в сон, словно в глубокий омут. И те же люди вокруг: тетушка, ее вкусная стряпня и тихая, заботливая ворчливость, Мишка с Еленой и Толик.

Ничего не изменилось. Правда, Толик... Прежде Максим с Толиком в шахматы играли на пляже. А теперь не получалось. Потому что время от времени Максиму нужно было смотреть на Лельку. Как она выбегает из воды и брызги летят от нее в стороны светлыми, прозрачными зернами. Как с ребяташками детсадовскими возится.

Взгляд Максима легко возвращался к шахматной доске, но мысли... Однажды, когда партия складывалась интересно и Толик долго думал над ходом и наконец пошел,

Максим глядел на Лельку. Та вышла на берег, стояла, и вдруг на мочке уха ее сверкнула под солнцем капля воды, стекая.

Максим засмеялся и, опуская глаза к шахматам, спросил у Толика рассеянно:

— Ты знаешь, как появились у женщин серьги? Как их придумали?

— Ходи, ходи...— досадливо подогнал его Толик.

— А я знаю...— так же задумчиво продолжал Максим.— Когда-то кто-то увидел, как женщина выходит из воды. И капля, стекая, еще висит на мочке ее уха. И светит. Ему это понравилось.— И тут Максим сделал такой глупый ход, что Толик взбеленился:

— Ты что делаешь! Капля... Серьга! — а потом, вздохнув, смешал фигуры и проговорил: — Глупеешь ты, брат, ну прямо на глазах.

И шахматы больше на пляж не приносил.

А вечерами Максим с Лелькой уходили за пристань, за ее мол, где деревья парка подступали к самой воде. Луна добиралась сюда не сразу. Она поднималась где-то за поселком, за его высокими тополями; и ночная река лежала во тьме просторно. Далеко, на той стороне, словно на краю света, тлели два уголька створных огней, зеленый и красный. На пологий песчаный берег вода набегала с ясным плеском, а рядом, у обрывчика, она хлюпала глухо и всполошенно, будто билась там тяжелая рыба.

Лелька с Максимом обычно сидели на самом берегу, на тяжелой, наполовину ушедшей в землю коряге. Славно здесь было. Иногда по реке проходил грузовой теплоход. Он появлялся всегда неожиданно, словно крался по ночной темной воде. Глухо, вполголоса, бормотала его машина. Мягко светилась рубка.

Лелька лежала на коленях у Максима притихшая.

— Нам бы такой пароход...— шептала она.— Ты бы в рубке, за рулем, а я возле тебя. Плыли бы, плыли ночью. Хорошо ночью плыть, да?

— Да, хорошо,— отвечал Максим осторожно.

Лелькин голос, тяжесть ее тела, тепло дыхания, нежность лица, горький запах волос — все это было для него и чудом, и лаской, и счастьем.

Луна поднималась из-за высокой стены дерев, и мир светлел. Тяжелые масляные блики редко и лениво колыхались у берега, на темной воде. А уходя вдаль, эта желтая

зыбкость светлела, и ширилась, и, наконец, разливалась немеряным ясным полем.

Ночная вода была тепла и таинственна. И когда Лелька отплывала в сторону, пропадая в темноте, Максим пугался, искал ее. И на берег они выходили вместе, чуть подрагивая от свежести августовской ночи, согреться в которой было очень легко. Нужно было лишь обнять Лельку, прижаться к ней ближе, еще ближе. И целовать, целовать ее губы, глаза, лунный блик на гладком ее плече.

А потом они шли по тихим улицам к Лелькиному дому и негромко пели песню, свою, собственную. Она появилась нечаянно. Однажды Максим сказал:

— Я люблю этот поселок. Он такой спокойный, зеленый.

А Лелька прошептала:

— Я люблю этот поселок за то, что ты здесь.

И теперь ночью, когда они шли к Лелькиному дому, они всегда напевали:

Я люблю этот поселок за то, что ты живешь здесь.

Я люблю эти улицы за то, что ты по ним ходишь.

Я люблю эти деревья...

Песня была длинная. Долго ее можно было петь. Они пели и смеялись глупости и правде, такой ясной правде этих слов.

* * *

— Я люблю этот поселок,— проговорил Максим вслух, громко, и оглянулся.

Но вокруг, конечно, никого не было. Пустынен был осенний пляж. Даже следов людских — и тех не было, только вязь птичьих крестиков у самого берега. Что поделаешь — осень, почти ноябрь. И осенняя река была темна и пустынна. Паром дремал у того берега, да две черные лодки застыли невдалеке.

— Я люблю этот поселок за то, что ты живешь здесь,— повторил Максим, и ему сделалось горько, и он пожалел, что приехал сюда. Но потом закурил и подумал: «Господи, чего я страсти-то развожу. Тысячи людей... Какие тысячи, миллионы... Какие миллионы, все живущие на земле. У всех это было. Мальчишество. Первая любовь. У всех

было. Болезнь, как корь. Все должны переболеть. А потом жить дальше. Мудрее, скучнее».

Он будто бы успокоил себя этим раздумьем, но горечь не уходила. «Мудрее и скучнее,— повторил он.— Разве только так можно? Неужели только так?» Он ясно вспомнил то Лелькино письмо, ее слова: «Я старше и мудрее, пошла она к чёрту, эта мудрость. И я знаю, что так будет лучше. Особенно тебе. Ты поймешь это потом, Максимчик, золотце мое. Поймешь».

«Когда же потом? — подумал Максим.— Нет, наверное, не мне, а тебе так было лучше, тебе, Лелька».

Светлая вода отмели вдруг потемнела, и белый песок пляжа сделался серым. Тучи напоззли, прикрыли солнце, и сразу сделалось зябко, стылым ветром потянуло от воды.

Сверху шел теплоход, толкая впереди себя две длинные тяжелые баржи. Теплоход загудел протяжно, словно прощался с этими берегами и поселком, с этими водами — надолго, на целую зиму.

Максим быстро пошел к дамбе через заросли репейника, почерневшие, по темным плитам песчаника. На дамбе, на гребне ее, он оглянулся и вдруг замер.

Небо на западе, куда клонилось солнце, было затянуто серым облачным слоем. Но в одном месте синее окошко осталось, словно проталина. И справа, вниз, через это оконце, лился на землю и воду столб такого ясного и мягкого, такого золотистого, радостного света, что, глядя на него, Максим улыбнулся и вздохнул легко.

«Господи,— подумал он.— Чего мне еще надо? Ведь это же все было, было. Был этот август. И его никто не сможет отнять, никогда».

И Максим пошел вниз, через парк, к автобусу.

А над осенней водой еще плыл пароходный гудок: печальный ли клик расставания или обещание новой встречи. Как знать...

Повесть

1

Уже растерял декабрь добрую половину листов календаря, а земля еще лежала по-осеннему черной. И может быть, потому по утрам долго не светало. Ночь нехотя оставляла нахохленные от долгой осени домишки, темные от дождей заборы, пустые огороды и, отступая от поселка в степь, таилась там до поры по буеракам, логам да балкам.

Тусклый день едва успевал разлепить глаза, как следом, чуть ли не с полудня, тягучие сумерки начинали мало-помалу гасить его зябкую синь.

Старые люди в домах попусту огня не жгли, управляя дела свои привыкшими за долгую жизнь руками. А на работах да в школах день-деньской окна желтели.

В одной из комнат редакции районной газеты горела настольная лампа с зеленым колпаком. В комнате было сумрачно, лишь светлое пятно огня лежало на столе. Хозяин кабинета, Лаптев, не работал, а стоял у окна в ленивом раздумье.

На улице низко, над самыми крышами, висело сизое, озябшее небо. Ни в одной из сторон близкого горизонта не было видно зловещей чугунной теми — предвестника снежной тучи. Не было снега, не было...

Тесно прижались к земле темные домики поселка; скучным сиротским табунком торчали среди них двухэтажные кирпичные коробки центра; нелепые сорочки гнезда чернели в сырых деревьях парка. Осень стояла, поздняя осень.

И лишь против дома редакции ясень-трехлеток не совсем облетел; и потухающий костерок редких его листьев тлел еще, еще светил в сумрачном осеннем дне, грел еще взгляд. Может, один во всем поселке, а может, и в мире.

Лаптев стоял у окна долго, до тех пор, пока в дверь не постучали.

— Войдите! — крикнул он и пошел к столу.

— К тебе можно, папа? — В дверь заглянула светлая сыновья голова, а потом и сам он вошел.

— Конечно, заходи, заходи,— удивленно сказал Лаптев.— Свет включи.

Алешка, сын Лаптева, обычно на работу к отцу не приходил. И потому Лаптев несколько встревожился.

— Что случилось? — спросил он, а сын искал и найти не мог выключатель.— Ну, что же ты...— укоризненно сказал Лаптев.

Наконец выключатель щелкнул, и на потолке зажглись и мерно жужжали две люминесцентные лампы.

— Так что случилось? — повторил Лаптев.

Алешка дверь плотно закрыл, огляделся опасливо.

— Сюда никто не зайдет? — спросил он и добавил, указывая на второй, пустой нынче, стол комнаты.— Где? Этот?..

— Болеет. Проходи, садись.

Алешка уселся возле отца, потискал руками шапку, положил ее перед собой.

— Лидию Викторовну с работы уволили,— сказал он.

— Какую Лидию Викторовну?

— Какую... Балашову.

— А-а-а,— понял Лаптев.— Это Машина мать?

— Да.

— А где она работала? Я что-то подзабыл.

— В школе, делопроизводителем.

— У вас в школе?

— Да не у нас она работала, а в школе-интернате.

— Вспомнил, вспомнил...— торопливо проговорил Лаптев.— А почему ее уволили?

Алешка пожал плечами.

— Но ее неправильно уволили,— сказал он.

— Ты-то откуда знаешь?

— Неправильно,— повторил сын, опуская голову.— Лидия Викторовна...— начал он, но, видно, не нашел что сказать и снова повторил настойчиво: — Неправильно, и все.

— Значит, неправильно... И ты хочешь, чтобы я ей помог? — улыбнулся Лаптев.— Так?

Алешка его легкомыслия не принял. Словами ничего не сказал, но поглядел осуждающе и поднялся.

— Ты сможешь? — спросил он, забирая со стола шапку.— Только нужно быстрее.

Поняв свою ошибку, Лаптев ответил серьезно:

— Постараюсь узнать, в чем дело. Это, конечно, не мой

отдел, я занимаюсь сельским хозяйством,— объяснил он.— А такими делами у нас обычно...

— Так ты не сможешь? — досадливо перебил его сын.

— Ну, сказал, сделаю, узнаю...

Алешка повернулся и пошел к двери. Лаптев тоже поднялся.

По коридору они шли почти рядом. Лаптев чуть сзади. Дверь одной из комнат распахнулась, и кто-то из своих, редакционных, крикнул:

— Вот это сынуля вымахал! Лаптев, в кого он у тебя, а? Ты — лысый, а у него копна на голове! Да и здоровый вымахал! Это точно в прохожего молодца! А?!

Алешка, нахлобучив шапку, заспешил и, оставив отца, исчез за поворотом на лестничной площадке. Он стеснялся и, видимо, поэтому на работу к отцу не заходил; если нужно было, звонил по телефону. Он все же еще пацаном был пятнадцатилетним и, видимо, стеснялся роста своего и стати.

Да, Алешка, младший сын Лаптева, и впрямь удался на славу. С малых лет он словно поеный бычок рос. Но все мальчишкой был, хоть и дюжим. А в последние год-два маханул вдруг, и на голову отца перегнал, и в плечах развернулся. Над верхней губой зазолотился мягкий пушок. Нет, не рослым мальчиком уже гляделся Алешка, а парнем, да еще каким. Светлые волосы мягкой шапкой лежали на его голове, глаза голубели мартовской синью, и северный румянец в дело и не в дело полыхал на белом круглом лице. Откуда что взялось...

Лаптев вернулся в свою комнату. Чуть заметная улыбка бродила по его лицу, а на душе было и вовсе хорошо. Нынешний приход сына и его просьба значили для Лаптева очень и очень много. Дело в том, что Алешка все далее и далее отходил от отца. Характер у него оставался прежним: он был спокойным парнем, добрым — жаловаться на него было грех,— но какой-то холодок отчуждения появился в последние годы между отцом и сыном.

Лаптев понимал, что это дело естественное. Наверное, так было и со старшими детьми, он уже не помнил. А может, просто он сам старел, и хотелось ему, чтобы подольше, а может, и навсегда рядом был прежний Алешка, для которого отец — высшая сила и правда.

Лаптеву льстило и то, что именно сюда, в газету, при-

шел сегодня Алешка. Не только как отца, но и как журналиста просил его помочь.

В недавние еще времена Алешка отцову «районку» уважал более других газет. Он читал ее, особенно статьи Лаптева. И работой отца откровенно гордился. Но хоть и недавние то были времена, да не нынешние. А нынче, совершенно точно, Алешка относился к отцовой газете весьма снисходительно. Читать он ее не читал. А если и проглядывал, то с какой-то покровительственной усмешкой. И это равнодушие, даже пренебрежение сына было для Лаптева очень обидно.

В раздумьях, вспоминая былое, Лаптев во многом себя винил. Он, конечно, был виноват, виноват во многом. Особенно ясно вспоминался ему один случай. Вспоминался часто, навязчиво.

Это было два года назад, уже здесь, в этом поселке. Алешка встретил отца на пороге, с газетой в руках.

— Папа, вы здесь все перепутали,— быстро заговорил он.— Здесь неправильно. Этих ребят уже и в школе нет.

Лаптев посмотрел. В номере стоял снимок: школьники за столами сидят, собрание.

— Что перепутали? — спросил он.— Комсомольское собрание, все нормально.

— Они еще в позапрошлом году школу кончили. Вот эта девочка... Вот эта... Она уже замуж вышла, у нее ребенок уже.— Алешка глядел на отца испуганными глазами.— Тебя теперь будут ругать?

Лаптев прочитал вслух подпись к фотографии:

— «Комсомольское собрание в школе»,— и засмеялся.— Ничего... Ерунда... Это тематическая полоса, комсомольская. Не было снимков, ну и сунули. Текстовку правильно сделали. Здесь же конкретно ничего не указано,— разъяснил он не столько сыну, сколько себе.— Ничего, сынок, ерунда... Все нормально, пошли ужинать.

На кухне, за столом, Алешка снова начал:

— А у нас в школе смеются...— Подождав, он поднял на отца глаза, вопрошающие и снова испуганные, и забормотал: — Ведь они же в позапрошлом году кончили... У нее ребенок родился, вот у этой девочки.— Он снова потянулся за газетой, которая лежала на подоконнике.

Лаптев остановил его.

— Ешь, ешь.— И усмехнулся: — Эх, Алешка, святая

простота.— И не сыну, а жене начал рассказывать о каких-то ошибках, еще более нелепых.

Конечно, не надо, не надо было при Алешке заводить этот разговор, и про снимок можно было по-иному объяснить. Потому что, может быть, именно с того вечера все и началось. А может, и не с того... Всего не упомянуть.

А может, Лаптев все это сам придумал. Может, просто Алешка вырослел, умнел, начинал кое-что понимать. Может, и так.

Но сейчас Лаптев торжествовал. «Вот так, Алешка,— разговаривал он в душе с сыном.— Так-то, дорогой мой пацан. Не такой, значит, и балбес твой отец. Не такими уж пустяками занимается. Воротил-воротил нос, а приперло — ко мне прибежал. Куда же еще...» Лаптев посмеивался, довольный.

Но радость радостью, а дело нужно было делать. И дело неприятное, кляузное. Лаптев знал такие дела и никогда их не любил. Ведь только жалобщику ясно, что с ним неправильно обошлись. А начни копать...

Улыбка с лица Лаптева сошла. Он записал на листке календаря: Балашова. Имя-отчество повспоминал — не вспомнил.

Машу он знал. Маша Балашова часто приходила к Алешке. Они дружили. Маша, видимо, нерусской была по матери. На татарочку смахивала или на башкирку. Как и Алешка, круглолицая, но черноглазая, с черными длинными косами. Симпатичная девочка, приятная, скромная. Видно, в мать, потому что Машиного отца, Евгения Михайловича Балашова, учителя математики, Лаптев помнил хорошо. Балашов умер год назад, а до того преподавал в Алешкином классе, и Лаптев знаком был с ним. Умер Балашов как-то неожиданно. Не то почки у него подвели, не то печень. Лаптев и сейчас помнил его. Хороший был мужик Евгений Михайлович, Алешка его всегда хвалил. А вот жену его Лаптев не помнил. Может, и видел когда... Да, наверное, видел на собраниях и где-то еще, ведь городок небольшой. Но не помнил, и все. Видно, Маша в нее, нерусское что-то в лице, а Евгений Михайлович нижегородский был. Хотя... Вон Алешка в кого? В деда, говорят, в знаменитого деда, в отцовского батю, в Матвея, про которого сказки всякие рассказывали. Видеть его Лаптеву не пришлось, а уж слышать — наслушался.

Лаптев дважды подчеркнул написанную на календарном листке фамилию и задумался. Хороших знакомых в школе-интернате у него не было, как, впрочем, и во всем поселке, где он был человеком новым, приехавшим сюда лишь два года назад. Но, несколько подумав, он вспомнил об инспекторе района, с которым познакомился в одной из поездок. В столовой они вместе обедали, а главное — были занятыми рыбаками, на том и сошлись.

Ему Лаптев и позвонил. Инспектор оказался на месте. Выслушав, он сказал:

— Подожди. Я тебе перезвоню с другого телефона.

А перезвонив, объяснил:

— Там у меня бабы сидят. А это такой народ, сразу уши наострят. Так зачем тебе Балашова? Вам, что ли, пожаловалась?

— Вроде этого, — уклончиво сказал Лаптев. — Я твое мнение хочу знать. Неофициальное. Лично твое. Не для газеты, а для себя. Как там и что, если не секрет?

— Понимаю. Так вот, я увольнением Балашовой не занимался. Приходил их директор и разговаривал с заведующим и с профсоюзом. О чем они толковали, не знаю. Но вообще я считаю, это нехорошо. Евгений Михайлович у нас работал. Хороший был математик. Двое детей все же...

— У нее еще есть?

— Девочка в девятом, мальчик в пятом. Хорошие дети. Ну, вот... Я думаю, это неправильно, просто не по-человечески. Тем более среди зимы, не предупредив. Где она у нас устроится? Это же не город... Там, конечно, есть какие-то... — помялся инспектор. — Что-то у нее нашли... С бумагами какой-то непорядок. Но если она подаст в суд, я думаю, ее восстановят. Но это просто мое мнение, частное, понял? Если тебе нужно для газеты, то я ни при чем, обращай к заведующему, в профсоюз. Пусть они и объясняются, они этим делом занимались.

На том разговор и кончился. Но Лаптеву большего пока и желать не приходилось. Он просто должен был убедиться хотя бы в малой правоте Алешкиных слов. И лишь тогда начинать дело. Эта правота теперь была налицо, и, кажется, весьма немалая.

Теперь можно было идти к редактору, чтобы официальное согласие получить, и тогда уж начинать основательный разбор.

Редактор был у себя. Он занимался цветами. В просторном кабинете их было немало.

Широко плелся возле стены, по лесенке, восковой плющ гоюя, который цветет снежными малыми звездочками, такими душистыми, что в пору его цвета из комнаты не уйти, недаром росинка меда поблескивает в каждой его чашечке.

С книжного шкафа пушистой бородой свисал аспарагус, а по-русски так просто «кудельки». Ползучий фикус, «бабьи сплетни», барвинок тянулись из горшков зелеными пряжами. Буйно цвела «невеста». Поток зелени ее, падавший из деревянного ящика до полу, словно фатой, был накрыт легкой пеной белейшего цвета.

Возле окна иноземная гостья колумнея светила высокими язычками алого пламени. И зеленый лист ее, закрывавший стену, отливал медью. А еще одна гостья, фризия, поднимала из широких розеток стреловидных листьев сочные стебли с радужным веером красно-желтых перьев.

Цветов было много. По стенам, на окнах, да еще на каких-то хитрых треногах, подставках, полках и полочках. Много было цветов, и оттого казалось, что свет в этой комнате несколько иной, зеленоватый.

И хозяин всей этой красоты, редактор, сейчас любимым делом занимался: с лейкой и грабельками ходил он от горшка к горшку и поливал цветы осторожно, рачительно, что-то бормотал ласково, словно малых детей кормил, уговаривал.

— Александр Иванович...— начал с порога Лаптев.

Но редактор ему граблями погрозил: погоди, мол, и, лишь опорожнив лейку, обернулся к вошедшему.

Без пиджака, в просторных штанах на подтяжках, широкозастегнутый, с лейкой и грабельками в руках, с жидкими, по-дьячковски длинными волосами, редактор сейчас как нельзя более отвечал своему прозвищу — дядя Шура. Так его, конечно, за глаза в редакции звали.

— Чего? — спросил дядя Шура, поднимая на лоб очки.— Срочное дело?

— Срочное, Александр Иванович, сейчас объясню...

— Подожди,— обреченно выдохнул редактор и начал на место укладывать инструмент; потом помассировал отекающие подглазья, пиджак надел и уселся за стол.

— Ну, давай...

Лаптев садиться не стал, лишь оперся на грядущку стула.

— Женщину одну уволили с работы. Видимо, уволили неправильно. Надо разобраться, помочь ей.

— Не-а,— лениво помотал головой редактор.— Пусть к прокурору идет, к юристам. Они разберутся.

— Ну, а мы что?..

— А мы не-а... Слушай,— сморщился редактор,— чего ты в бабьи сплетни лезешь. Фаина все пишет про то, как мужик бабу побил, вразумляет его. Еще ты начнешь про баб писать. Получится не газета, а женский календарь. Так что брось... Делом занимайся. Зимовку скота мы ни хрена не освещаем,— поднялся из-за стола редактор.— Ремонта техники нет. Полосу Калюжного с передовым опытом не выпустили. Чем перед райкомом отчитываться? А ты мне какими-то бабами голову забиваешь. Ну, а что хоть за баба? Молодая? Откуда она?

— Балашова есть такая, работала она в школе...

— Выгнали? — удивленно спросил редактор.

— Да, уволили, понимаете...— обрадовался Лаптев.

— Правильно сделали,— решительно перебил его редактор.— Одной дрянью возле школы меньше. А ты хочешь, чтобы мы за нее заступились? Во тебе! — И дулю показал.

— Александр Иванович, надо же разобраться...

— Не надо разбираться,— мотнул дядя Шура головой, и волосы его жидкими крыльями повисли, почти закрывая лицо.— Я уже давно разобрался. Ты знаешь, кто она?

— Кто?

— Воровка,— коротко ответил дядя Шура и довольно ухмыльнулся.— Понял?

— Это, Александр Иванович, не разговор. Я ее дочку знаю, она с сыном учится, мужа ее знал.

— Извини, но я не про дочку,— наставительно сказал дядя Шура.— Я про нее про саму говорю: воровка.— И, большой, мясистой ладонью откинув назад волосы, стал глядеть на Лаптева пристально.

— Кто это сказал? — спросил Лаптев.— Кто-то где-то...

— Подожди, подожди...— остановил его редактор.— Я, понимаешь,— подчеркнул он,— я это сказал,— и ткнул себя пальцем в пухлую грудь.— Я же напротив нее живу.

Понимаешь? Я же все вижу. Мне жена и теща все уши про нее прожужжали. Как вечер, так у нее музыка, музыка,— плавно повел он рукой.— Кобели табунами идут. Свет при- тушат... Ты понимаешь? И музыка, музыка...— чуть гну- савя, пропел он.— Шторы закроют...

— А как же вы видите, если шторами закрыто?

— Ты это брось... Не хватало еще в окна заглядывать. И главное, вот почему мои бабы на нее обозлились? Они вроде никогда особо сплетнями не занимаются. Главное, она после смерти мужика и недели не выдержала. А за- нялась этими... сабантуями. Ты меня немного знаешь, я не с базара несу. Просто я здешний и все про всех знаю. И говорю тебе: в это дело мы не полезем. Чего она себе искала, то и нашла. Детей, сирот обкрадывать... Надо же! Все,— мягко шлепнул он ладонью по столу.— Я тебе за- прещаю этим заниматься... Давай лучше подумай о деле. А то, я смотрю, суслики в спячку и ты тоже. Меня и в райкоме кроют, и в отделе печати, как поеду, слова доброго не услышишь, а вы в норы позабились и спите.

Разговаривали с редактором долго. Все о деле. О Ба- лашовой больше речь не заходила. И, вернувшись к себе в комнату, Лаптев почувствовал какое-то облегчение. Гора с плеч. Он не любил кляузных дел, не любил этой нер- вотрепки, в которой никогда не видно виноватого, а все вроде правы и все не правы — поди тут разберись. Нет, не его голове в этом копать. Другие любят, а у него душа не лежит. А теперь, во-первых, редактор официально за- претил ему этим делом заниматься, и он обязан подчи- ниться; во-вторых, у Лаптева не было особых причин не верить редактору. Может, тот и перегибает палку, но дыма без огня не бывает. И ко всему эта Балашова, видно, еще та штучка. В нынешнее время зря не выгоняют. Особенно из школ, там все люди грамотные, учителя.

И, обдумав все это трезво, Лаптев решил: конечно, он против редактора не пойдет. Незачем, да и не нужно. Надо заниматься своим делом. И, окончательно решив, он по- веселел, даже бодрость какая-то появилась. «Делом надо заниматься, делом»,— пробормотал он вслух. И начал звонить по совхозам. Надо было отклики организовать на последнее постановление. И со сведениями по привесам и удоям совхозы тянули, ждали, когда их подгонят. Вот Лаптев и подгонял. И все пошло привычно, хорошо, спокойно.

Но после обеда, когда схлынула горячка, пришли мысли о сыне, об Алешке. Прежние, утренние мысли. И Лаптеву вновь стало не по себе. Он понимал, как нелегко будет ему с сыном разговаривать. Редакторских доводов Алешка не примет. А кроме них, чем убеждать? Пожалуй, что нечем. И потому сомнения появились в правоте дяди Шуриных слов, в общем-то басен, сплетен, тещиных и жениных. И решил Лаптев с другими людьми в редакции поговорить.

Пошел он из комнаты в комнату и везде, где с подходящим, а где и напрямую, принялся выспрашивать о Балашовой.

Секретарь и фотокор — люди помоложе — начали томно глаза заводить, похохатывали понимающе, подначивали:

— Наконец-то Семен Алексеевич заинтересовался приличной женщиной.

— Губа не дура, не дура...

— Есть вкус... Есть...

— Но смотрите, она... штучка. Вам нужно несколько... экипироваться... Шарм, шарм... Мужской такой, понимаете.

И оглядывали Лаптева скептически.

Никакого шарма, парижского или иного, у Лаптева не имелось. По рождению он был вятским. Бывшего Орловского уезда, теперь Халтуринского района, деревня Лаптево.

Короткий нос уточкой, светлые маленькие глаза, крепкий выпуклый лоб и лысина до затылка — это на лицо. И по одежде он от отчины далеко не ушел. Одеждушивал какую потеплей, покрепче и до полного износу.

С костюмом Лаптеву очень повезло. Купил он его еще до реформы за 1500 рублей, синий, бостоновый, немаркий, старой еще, видно, работы, какие теперь разучились делать. Костюм носился и носился. Сначала много лет праздничным был и одевался на Новый год, на Майские и Октябрьские. Потом пошел в дело. Носился костюм хорошо. Штаны, правда, подсели, и из-под них всегда носки торчали, сейчас шерстяные, черные. Лаптев носил и носил этот изрядно потертый, до блеска, но еще крепкий и всегда чистый — за этим жена следила, — носил этот костюм не потому, что у него денег не было или он их жалел, как некоторые думали. Нет, он просто знал, что одежду надо

носить до тех пор, пока она не порвется. Лаптеву очень с костюмом повезло, и менять шило на мыло он не собирался. Тем более старый костюм уже сроднился с телом, тогда как новый — тот же праздничный — был очень неудобен.

Так что все эти хихиканья и насмешки Лаптев воспринимал как глупые и не обращал на них внимания, зная, что одет он чисто и аккуратно.

А сейчас он стоял в секретариате, слушал эту сорочью болтовню, подначки, пытаясь выудить что-нибудь стоящее и в то же время себя не раскрыть.

Наконец он понял, что здесь ничего не узнает, ни хорошего, ни дурного. Хорошего — оттого что эти люди ни о ком доброго слова не говорили. Плохого... Они бы сказали, да ничего не знали, кроме бабьих толков да сплетен. И Лаптев пошел дальше.

Люди постарше были, конечно, добрее. Они Балашовой лишь воровство в вину ставили, тем более в школе, у детей. А что до остального... Они просто жалели мужа-покойника, сирот-ребятишек. Так жалели, что Лаптеву все становилось ясным.

И Лаптев понял, что дело, в которое он собирался лезть, — мутное. Балашова не без греха, и потому он заниматься ее увольнением не будет. Не пойдет против редактора. Незачем. Совершенно.

А что до Алешки... Так что Алешка? Алешка — пацан. Ему Маша голову задурила. Для нее, для Маши, конечно, мать — святая. Вот она Алешку и настропалила.

Лаптев решил все сыну объяснить. Все допустимое. Он твердо знал, что Алешка его поймет. Алешка, нечего грешить, был парнем спокойным, добрым, понимающим. С младшим сыном Лаптеву очень повезло.

Все эти разговоры, расспросы, волнения несколько расстроили Лаптева, и к концу дня у него начала побаливать голова. А лекарство было одно — идти домой пешком, проветриться. Так он и сделал.

В начале седьмого, когда он вышел с работы, во дворе было хоть глаз коли. Даже в центре поселка, на его площади, среди фонарей и больших светлых окон, темнота низко крылатилась над землей, а чуть в сторону — накрывала такой дегтярной вязкой темью, какая бывает в российской глухомани лишь поздней осенью или ранней зимой, до снега.

Лаптев проводил глазами яркий в ночи кристалл медленно плывущего автобуса и пошел. Ему нужно было обязательно идти пешком, он это твердо знал — идти пешком, чтобы как следует проветриться и не мучиться потом ночью от ноющей боли в затылке.

По теплomu времени эти шесть остановок ровной дороги были нисколько не в тягость. По теплomu, по светлomu... Но не теперь.

Улица, центральная улица поселка, тонула в сырой, ветреной тьме не то осеннего, не то зимнего ненастного вечера. Неоновые светильники на ажурных бетонных столбах — гордость районного начальства — были хороши лишь днем. По ночам они не горели. Лишь иногда какой-нибудь из фонарей, словно спросонок, вдруг вспыхивал, мертвенно светил минуту-другую с каким-то отчаянным жужжанием. И снова гас. А старые фонари, с лампочками в жестяных колпаках, поспешили убрать. И теперь центральная улица поселка тонула во тьме. Лишь скупое светили кое-где окна домов да редкие лампочки во дворах; да желтые полосы автомобильных фар стлались по дороге.

Лаптев приехал в этот поселок два года назад. Раньше он жил далеко отсюда, на Урале, на Севере. Перетянула жена, у нее сестра рядом. Погостив разок-другой в этом крае, Лаптев не противился переезду. Какой-никакой, а юг. И арбузы, и дыни, настоящих помидоров вволю, и прочая овощь да фрукты, какие у них, на Урале, лишь на рынке, за большие деньги можно купить.

Два года быстро прошли. Лаптев привык к новому месту, оно ему нравилось. Работали они с женой, как и прежде. Он — в районной газете, она — врачом. Все было неплохо: работа, квартира и климат, конечно, не сравнить. Вот уж декабрь проходит, а все тепло. Лишь иногда скучал Лаптев по снегу. Зимой скучал, когда слякотно было на дворе.

Вот и теперь он вспоминал свои родные места. Там уж давно снег лежал. И Лаптеву захотелось пройти сейчас заснеженной улицей. По белой дороге, среди домов с белыми крышами, по белой земле, когда светлеет даже самая темная ночь.

Но не было снега, не было... Скупое желтели кое-где незатворенные окна домов. Встречные улицы и переулки проваливались в глухую темноту, вовсе бездонную. И лишь

впереди светлело. Там, на краю поселка, грудилась кучка двухэтажных домов. Лаптев жил в одном из них.

И, добравшись до своего дома, он повеселел: дорога позади, и прошелся он славно, проветрился: погода, что ни говори, хорошая, теплая, хоть и декабрь на дворе.

Еще за дверью, на лестничной площадке, Лаптев учуял запах горячего вареного теста и мяса. А через порог ступил, понял, что не ошибся, сладко втягивая в себя пельменный дух, проговорил:

— Пельмешки... Это хорошо... пельмешки. Чего это ты вздумала?

— Фарш сегодня давали,— отозвалась из кухни жена,— два пакета достала. Гляжу, тесто есть в павильоне. Тоже взяла. Вас нет и нет. Начала сама лепить. Вот сварила.

— Я пешком шел. Устал. Башка начала гудеть. Пошел пешком.

Лаптев на кухне с ходу подцепил ложкой готовый пельмень, обжигаясь, съел его, одобрил:

— Ничего. Луку догадалась добавить. Соли в норме и перец тоже. Хорошо.

— Не успеешь, да? — спросила жена.

— Я просто попробовать. Думал, может, ты луку не догадалась. Давай лепить.

Переодевшись, он подошел к столу, начал фарш на кружочки катаного теста раскладывать. Лепил он пельмени ловко, и они у него хорошими получались, кругленькими, пузатыми.

— Ты пельмень,— любуюсь, говорил Лаптев и укладывал их друг возле друга,— и ты пельмень. Лопать будет вас не лень. Да... А где Алешка? — вспомнил он.— Куда ушел?

— Откуда я знаю, где вас носит...

Алешки не было. Поужинали и телевизор уселись смотреть, а сын все не приходил. Он обычно никогда не загуливался, а при нужде говорил, предупреждал, чтобы не волновались. И оттого Лаптев начинал беспокоиться. Он не столько в телевизор глядел, сколько слушал, ждал быстрых шагов на лестнице, звяканья ключа.

Алешка пришел в десятом часу. Он раздевался в прихожей, а Лаптев кричал ему, перекрывая телевизорный гвалт:

— Алешка, ты где, сатана, бродишь?! Мы с матерью уже хотели искать!

Сын что-то сказал неразборчиво и прошел на кухню. Лаптев направился за ним.

— Говорю, как пельмени лепить,— остановился он в дверях,— Алешки нету. Как лопать, он тут.

Сын, устраивая на плите кастрюлю, сказал:

— Так вышло, задержался,— и повернулся к отцу, поглядел на него вопросительно.

Лаптев взгляд его понял, закрыл кухонную дверь и начал все объяснять.

Алешка слушал спокойно, молча. Слушал и дело делал. Наполнил миску, устроился за столом, ел, на отца лишь изредка поглядывал.

Лаптев все объяснил, насколько можно было. И он еще раз убедился, что сын у него растет понятливый.

Алешка выслушал, сказал:

— Все ясно.

Доел пельмени, миску помыл и ложку, у раковины обернулся, спросил:

— А если она подаст в суд, там ей помогут?

— Помогут, разберутся,— сочувственно покивал головой Лаптев и, поколебавшись, добавил: — Даже есть такое мнение, я не могу сказать чье, но ее, видимо, восстановят через суд.

Сын еще раз произнес:

— Ясно,— и ушел к себе в комнату.

Телевизор он в этот вечер не глядел. Видимо, все же огорчен был немного. Лаптев понимал его. Но понимал и то, что это огорчение ненадолго, как и все мальчишеские беды. И, ложась спать, он еще раз с гордостью подумал, что сын у него растет отличный: спокойный, толковый, понятливый. Дай бог всякому такого Алешку.

2

Четверг был днем суматошным. В кинотеатре проходило районное совещание ударников. И с самого утра Лаптев крутился там: искал нужных людей, снимал их, расспрашивал, записывал, договаривался на будущее. Момента терять было нельзя: то мыкаешься по совхозам, кого-то ищешь, а здесь сено к лошади пришло. Успевай дело делать. Такой день год не год, а месяц-то доброго газетчика всегда прокормит. Если не с гаком.

После обеда Лаптеву сказали, что его искал кто-то из

школы, какая-то учительница, просила зайти. Но Лаптев тотчас об этом забыл и вспомнил лишь вечером. Вспомнил и решил сходить, обычно учителя ему не больно докучали.

В школу он шел, ни о чем дурном не помышляя, думая, что это какие-нибудь просьбы обычные: найти героя войны или передовика. Ему, газетчику, в этом деле и карты в руки, его иногда об этом просили, и он помогал охотно.

А через полчаса, сойдя со школьных ступеней, Лаптев стоял очумело посреди двора, долго стоял, опомниться не мог. Потом отошел к заборчику, чтобы не маячить, прислонился к нему. А когда маленько опамятовался и увидел перед собой, через улицу, светлые магазинные витрины, пошел туда за сигаретами.

Курить Лаптев бросил очень давно. Но держал сигареты и дома, и на работе, чтобы при случае, за выпивкой, от волнения или просто, когда захочется, дымнуть разок-другой. Дымнуть и сразу выбросить. Глазам-то было завидно, а затянешься — противно и горько. Сразу все желание отбивает.

Но сейчас Лаптев и не заметил, как сигарету иссадил, и сразу же за второй полез. И хотя дом его стоял совсем рядом — от школы, напрямую, через дворы, метрах в трехстах, — Лаптев кругом пошел. Мимо поликлиники, а затем полотном железной дороги, к переезду, в самую степь. Лаптеву нужно было окончательно в себя прийти и обдумать дальнейшее, потому что...

Потому что Алешка, сын Лаптева, сегодня в школе, на глазах у всех, избил своего одноклассника. И, как в один голос заявили учителя, избил зверски; избил так, что мальчишку в больницу отвезли. А после этого нагло перед всем классом заявил: «Так будет с каждым, кто раскроет рот. Я кое-кого научу свободу любить». Или что-то в этом роде. Но «так будет с каждым» — это точно учительница запомнила. Выходит, что это была не обычная мальчишеская драка. И в школе перепугались. А Лаптев не знал, что говорить, что и подумать. Он просто-напросто не верил, до сих пор не мог поверить, что все услышанное им — правда. Потому что Алешка, несмотря на рост свой и силу, никогда не был драчуном. Он всегда был добрым парнем, спокойным. И Лаптев скорее поверил бы обратному. Удивился, но поверил бы.

И главное, что поразило Лаптева, это жестокость. По

словам учителей, Алешку пытались оттащить, но он выворачивался и снова бил. Значит, не минутная вспышка была.

Незаметно Лаптев дошел до железнодорожного переезда. Свет фонаря возле будки обрезался по земле скупым желтым кругом. Направо вдаль тянулась жидкая цепочка огней авторемонтного завода. Прямо за переездом стеной стояла зябкая мгла.

Курить больше не хотелось, саднило во рту. Нужно было домой идти. Жена, конечно, все знала. И как они там с Алешкой ладили, один бог ведал. Конечно, нужно было сразу идти домой, а не шляться.

И Лаптев заспешил. И как всегда, при торопливом шаге стала заметней его хромота. Правая нога, короткая, калеченая, не поспевала. Лаптев ее волочил.

А дома все было тихо. Бой, видно, уже отгремел. Дверь в комнату сына была закрыта. Пахло сердечными каплями. Жена на диване лежала с компрессом на голове.

— Ты знаешь... — жалко шмыгнула она носом.

— Знаю, — ответил Лаптев. — Что с тем мальчиком?

— Две скобки наложили на губу. Глаз целый, слава богу, — жена приподнялась осторожно, придерживая рукой компресс. — Но ты понимаешь, ведь если его родители подадут заявление в милицию... ведь могут дело начать. И его... — всхлипнула она и выкрикнула истерично: — Этого дурака ведь посадят! Дубину эту! А ему хоть бы что! Я ему говорю... А он как баран! Поговори хоть ты с ним! Пусть все скажет! А то долдонит: надо да надо! Вот влепят, тогда узнаете... Дубина здоровая...

Лаптев вздохнул, присел возле жены, обнял ее за плечи и уложил на диван. И просидел с нею битый час. Уговаривал, успокаивал. Компресс менял и давал лекарство. Но делал все машинально, мыслями же был за стеной, возле сына.

Наконец жена успокоилась и сказала ему сварливо:

— Чего сидишь? Иди разговаривай с любимым своим. — И тут же шепотом запричитала: — Разузнай, чего у него, дурака, в голове... Господи, ведь посадить могут его, Сема...

Лаптев включил жене телевизор; уходя, плотно прикрыл за собой дверь. Но к Алешке в комнату не пошел, потому что почувствовал голод. Зверский голод. Обедал-то двумя пирожками, а завтракать крепко не привык.

Суп был еще теплый, и Лаптев жадно начал есть, откусывая большие куски хлеба. Хлеб был свежий.

Алешка показался в дверях кухни и остановился в нерешительности. Лаптев трудно сглотнул кусок и, боясь, чтобы сын не ушел, махнул рукой ему и лишь потом сказал сдавленно:

— Чего стоишь? Есть-то все равно надо. Не помирать же теперь. Наливай, еще не остыло.

Усевшись через угол от отца, Алешка принялся за еду. Лаптев стал хлебать медленнее, искоса он глядел на сына. Тот всегда из миски ел. Тарелки было мало. А сейчас Лаптев поглядел и увидел, что ручища у Алешки чуть не в миску величиной. «Такой ручонкой ахнуть,— подумал он.— Тут не то что кровь, тут мозги могут брызнуть». А рука была хоть большой, но детской, мальчишеской. Какая-то царапина тянулась по гладкой нежной коже запястья. Заусеницы возле ногтей топырились. «Стень, стень, забери мои заусень»,— вспомнился материн и бабкин заговор. «Стень, стень...» — И потереть о стену. Помогало.

И эта мягкая рука с ямочками на суставах, оказывается, была жестокой. И била до крови. Умела рвать тело так, что потом его нужно было сшивать.

— Яичницу, что ли, поджарим? — спросил Лаптев.

Сын согласно кивнул головой.

— Мне два. Тебе четыре?

— Ага.

Алешкино лицо было чистым: ни синяка, ни опухоли. Значит, сдачи не получил, а просто бил. А впрочем, ему сдачи не так легко и дать.

Доужинали молча. Алешка посуду помыл. А Лаптев глядел на него, понимая, что пора начинать разговор, но все ждал. Потом решил: «У него в комнате». Все оттягивал.

Наконец пришли к Алешке. Комнатенка была небольшая: стол, да кровать, да книжные полки, да шкаф со всяким барахлом. Лаптев за столом хорошее место занял, возле окна. Занавеска была сдвинута, и дома, что стояли через дорогу, глядели в ночь печальными желтыми глазами.

Алешка уселся на кровать. Она была низкой. И теперь Лаптев глядел на сына несколько свысока. А хотелось бы глаза в глаза, да не пересаживаться же.

— Рассказывай,— начал Лаптев.

- Ты все знаешь,— опустил голову сын.
- От других,— сказал Лаптев.
- Они же не ввали.
- Наверно. Но не знаю, почему ты бил.
- Подрались. Вот и все.
- Он тебя тоже бил?
- Нет,— вздохнул Алешка.
- Значит, не подрались.
- Выходит...
- Почему ты его бил?
- Без причины не бьют. Значит, была причина.
- Что за причина?
- Я не могу ее сказать.
- Большой секрет?
- Да.

Разговор остановился. Но не потому, что Лаптев обдумывал. Ответ сына не был для него неожиданным. Лаптев знал, что Алешка бил этого мальчика, своего одноклассника, не из-за пустяка, не из-за мгновенной гневной вспышки. Плохо ли, хорошо, но Лаптев знал своего сына и даже сейчас верил в него.

- Он чем-то оскорбил тебя?
- Нет.

А Лаптев-то предполагал, что причина в этом. Хотя, убей, не мог себе представить, какие слова нужно бросить в лицо Алешке, чтобы тот сделался... чтобы, чтобы...

— Тогда я не понимаю,— медленно проговорил Лаптев.— Какая причина может быть, чтобы вот так... бить человека. Он ровня с тобой? По силе?

- Нет. Он слабее,— поугрюмел Алешка.
- Значит, ты справился? Без сопротивления?

— Я не виноват,— поднял Алешка голову.— Если я здоровый, если я сильный... Так я, значит, должен... Пусть не лезет,— оборвал он.— Без причины бы я его не тронул. Ты знаешь.

Да, это Лаптев знал. Без причины Алешка не тронет. Он и с причиной не тронет. Были случаи.

- Так почему? Что он сделал... или сказал?
- Алешка поглядел на отца.
- Не могу я, ты понимаешь?

За окном, на автобусной остановке, в конце скупого фонарного света, двое мужчин курили. И Лаптеву захотелось. Но в комнате сына он никогда не курил.

— Та-ак... Ладно. Но ты можешь мне сказать, что сегодняшний случай не повторится?

Алешка ответил не задумываясь:

— Не могу.

— Конечно. Ты же сказал сегодня: «Так будет с каждым, кто раскроет рот». Значит, ты их будешь бить, бить и бить. Ты им сказал: «Я научу вас свободу любить». Так?

— Не совсем. Но, в общем, правильно.

— Какую свободу?

— Да при чем тут свобода? — махнул рукой Алешка. — Чего ты, не понимаешь?

Лаптев начинал нервничать и, чтобы сдержать себя, говорил еще медленнее:

— А как я могу понять, если чего ни спросишь, ты говоришь — тайна. Как я могу понять?

Сын молчал.

— Я понимаю одно. Видимо, я просто слепой. Я все проглядел. И зря радовался. Вот, думаю, какой сын у меня растет: большой, сильный Алешка. Это хорошо. А выходит, это плохо. Ты почувствовал свою силу, понял, что кулаком можно придавить и править. Ты и меня можешь сейчас вышибить отсюда и спокойно лечь спать. Ты уже сильнее. И жаловаться я не пойду. Давай и в доме диктатуру устанавливай. Право кулака.

— Ну, что ты ко мне пристал с этой силой, с кулаками? — поднялся Алешка и жалобно поглядел на отца. — Я же не виноват, что я такой. — Он протянул руку. — Ну, забери все это. Я отдам, только не упрекай... — И отвернулся. Но только на мгновение.

А когда Лаптев вновь увидел его лицо, Алешка уже улыбался. Счастливой улыбкой цвел. Он прошелся по комнате, оглаживая большими руками плечи. А остановившись, погрозил отцу пальцем, хитро прищурился.

— Не-ет, — сказал он, — не отдам. Ведь это единственное, что у меня есть, — поднял он к лицу кулаки. — Единственное, чем я могу защитить. Никакой тайны нет, я все тебе скажу, — проговорил он решительно. — Всем скажу. Да в школе и знают, — пренебрежительно сморщился он. — Дурака валяют. Вон тебе даже не сказали. Или ты притворяешься? — пристально поглядел он на отца. — Нет, не сказали. Я его бил за то, что эта скотина... — глядя сверху вниз на отца, декламировал Алешка, и не было

улыбки на его лице.— Эта скотина оскорбила Машу и Лидию Викторовну. Он сказал... Он оскорбил и получил за это.

— Как оскорбил? Что...

— Подожди,— перебил его сын.— И я очень рад, что я — сильный. Я смогу защитить Машу и Лидию Викторовну. Вы все отказались... Вы испугались... Ты испугался.

— Чего я...

— Подожди. А я буду их защищать.— Лицо Алешки потемнело, обрзалось, стало вдруг старше.— Больше некому. Я их не брошу. Я никого не боюсь,— злым шепотом говорил он.— Уж молчать-то я всех заставлю, раз больше ничего не могу. Поэтому хорошо, что я сильный. Я даже не представляю, что бы я делал, если бы сильным не был.— И он снова сел на кровать и на отца уже не глядел.

— Так чего же я испугался? — переспросил Лаптев.

— Не знаю чего,— резко ответил сын.— Начальства, наверно. А может, ты просто не захотел. А вообще-то я сам дурак. Я пришел к тебе всерьез, а ведь знал же, что у вас все понарошку. Просто идти больше некуда было. А у вас же вся газета понарошку, вроде нашей, классной. Только у вас напечатано, а все равно такие же игрушки. За зарплату. Ведь ты же сразу не захотел,— сказал он с упреком.— Я сразу понял, что ты ничего делать не будешь. Я только зашел, а ты сразу мне начал объяснять: не мой отдел, не мое дело. Никому нет дела. Все боятся или просто не хотят. Лидия Викторовна никому не нужна. Все только болтают языком. И в твоей газете тоже. Одна болтовня, одно вранье. Врут и врут. А когда надо помочь — все в кусты. И ты тоже. Я предполагал... Но я не думал... Я все же надеялся... Дурак, зачем я пошел...

Он говорил все это запальчиво, быстро, он снова глядел на отца. И лицо его разгорелось, румянец полыхал. Снова мальчишеским стало лицо, круглым. Мальчишеским. Хоть и злые слова он говорил.

А Лаптев не перебивал. Он сидел и ждал, пока Алешка выльется. А когда запал сына кончился, Лаптев поднялся, сходил за сигаретами. Бог с ним, можно и здесь разок покурить. Потому что курить было необходимо, а уйти нельзя. Он отодвинул стол от стены, чтобы пробраться к форточке, отогнув клеенку, сел на столешницу. Устроил

поудобнее больную ногу. И тогда закурил, затянулся с наслаждением, выпуская дым в открытую форточку. Алешку он теперь не видел, сын сидел у него за спиной.

А перед глазами, на улице, лежал асфальт дороги, освещенный скудным светом. За дорогой бугры земли высились. Что-то копали там уже второй год. Но бугров-то сейчас не было видно, темнота их скрывала. Просто знал Лаптев, что там высятся бугры.

А еще он знал теперь, почему Алешка бил того... болтуна. Может, и не болтуна.

— Ну, а следующий кто? Или они все испугались?

— Не знаю.

— Тебе еще за этого придется рассчитываться. А за следующего тебя из школы выгонят и посадят.

— Ну и пусть. Но пока не посадят, я их защищу. Я ничего не боюсь.

— Конечно, это ерунда...— докурил Лаптев и выбросил окурок.— А за что они Машу не любят?

— Кто?

— Ну, вот эти все...

— Почему все? Их двое-трое. Потому что сволочи. Мстят.

— За что?

— За то, что они — сволочи, а она...— и замолк.

— Да-а, разговор...— вздохнул Лаптев и вернулся на место, стол на место поставил.— Та-ак... Значит, будем бить,— сказал он сам себе.

И он знал, что это так и будет. И еще знал, что Алешке теперь всякий взгляд будет казаться косым, всякое слово — злым намеком, издевкой. И потому следующего взрыва, видимо, ждать долго не придется. Но объяснить сыну все это он не сможет, потому что Алешка ему просто-напросто не поверит.

— В чем, по-твоему, обвиняют Балашову?

— Во всем, даже в воровстве,— зло ответил сын.— Хоть умнее бы что-нибудь придумали.

— А из-за чего на самом деле, по-твоему, ее уволили?

— Потому что она умнее их в десять раз.

— Кого их?

— Учителей.

— Да-а... Ну, хорошо, ты будешь в школе кулаком затыкать рты. Но всему поселку ты рты не заткнешь.



Директора школы не заставишь изменить решение. А значит, Машиной маме не поможешь. А ведь это главное?

— А ей никто не поможет. В главном. Все ее бросили.

— Я ей помогу,— сказал Лаптев.— Если она на самом деле ни в чем не виновата.

— Ты уже раз помог.

Лаптев перемолчал и повторил снова:

— Я ей помогу. Если она не виновата. Но при одном условии...

— Чтобы я никого не трогал? — перебил его сын.

— Да. Пальцем.

— Даже если они начнут открыто говорить?

— Послушай. Что у Маши — вся школа враги? Насколько я понимаю,— рассуждал Лаптев,— пытаются ее подколоть те ребята, которые равнодушны к ней. Или как там. Они злятся. Мстят. Ты им дорогу перешел. Отыгрываются на Маше. Так?

Сын опустил голову, низко, почти к коленям припал. Волосы его золотились в свете лампы. А Лаптев подумал, что и у него, наверное, когда-то были такие же волосы. Просто стриглись тогда по-иному. Бокс, высокий бокс, полубокс. Голые затылки. Впрочем, какой бокс... Пацанам-то, как Алешка, под нулевку. А уж тогда не увидишь, чьи волосы золотятся, а чьи...

— Так мы договорились?

— А ты, правда, поможешь? — Глаза Алексея глядели строго.

— Если она не виновата...

— А если ты снова...

— Слушай, давай друг другу нервы не портить,— наклоняясь и приближая свое лицо к лицу сына, устало сказал Лаптев.— Я тебя не обману. Неужели ты не понимаешь? Сын... Все, что можно, мы с тобой сделаем. Согласен?

— Хорошо.

— Твердо?

— Я же сказал, чего же ты...

— Ну, прости,— остановил его Лаптев, поднимаясь.— Порядок.

Он и жене тоже сказал:

— Порядок.

— Что порядок? Как? Расскажи все подробно.

Всех подробностей он, конечно, не передал. Просто успокоил. И ушел на кухню, сказав, что нужно сегодняшние записи разобрать, с совещания. На свежую голову.

На кухне он наконец расслабился. Здесь не было сына, а значит, отпала нужда притворяться, сдерживаться. И здесь, в темноте и тишине, прихлебывая горячий чай, Лаптев начал новый разговор с сыном, но уже по-иному, и, снова услышав: «Ты испугался. Ты и не хотел помочь. Ты обманул», он не стал сдерживаться и пропускать эти упреки. Он начал объяснять сыну, себе:

«Испугался? Разве я трус? Я, конечно, не из первого десятка храбрецов, но был на войне и упреков там не слышал. А вообще, что такое смелость? Есть ли она на самом деле? Или ее придумали так, для красоты?»

Лаптев воевал недолго. Он попал на фронт в январе сорок пятого. После училища, командиром взвода.

В первый раз он отвоевал двадцать дней, получил семь осколков под шкуру и ушел в госпиталь. Ранение ерундовое. Все осколки небольшие, неопасные.

Что происходило в этих двадцати днях, Лаптев сейчас не помнил. Шла война. Он был командиром стрелкового взвода, на передовой и воевал. Вспоминалось лишь отдельное и кусками. Так, однажды, прибежал за Лаптевым связной от командира роты. Шли со связным вместе. Потом тот сказал: «Здесь по одному. Он стреляет. Два-три снаряда обязательно кинет». И побежал. И точно, завывло. Потом три разрыва. Все позади связного. Тот благополучно достиг какого-то ему известного места, остановился и махнул Лаптеву рукой. Надо было бежать. И Лаптев побежал сразу же, не колеблясь.

В те минуты, когда глядел он на бегущего связного и слышал вой летящих снарядов, ему было плохо. Он видел первый взрыв — связной остался цел и бежал, но мог погибнуть при втором разрыве. Он опять уцелел и бежал. Но ведь следующий снаряд может оборвать его жизнь. С замиранием сердца и тошнотой глядел Лаптев на эту игру со смертью, но думал он тогда не о связном, а о себе. Ведь это ему предстоит бежать по открытому полю. Это его будут искать снаряды. И как знать, они могут найти его.

Но как только связной махнул ему, Лаптев сорвался с места. Он не медлил и секунды, и причиной была не

смелость. Он просто не хотел, чтобы в нем видели труса.

И так было до самого конца. Может быть, Лаптев просто не успел привыкнуть: он все же мало воевал. Двадцать дней, потом госпиталь, потом еще полтора месяца фронта и тяжелое ранение. Всего два месяца на войне. Наверное, он не успел привыкнуть. Хотя воевалось трудно. Он был командиром взвода на передовой. И не было никакой смелости; поднимал ли он людей в атаку или делал что-то другое, им владела и вела его только одна мысль: он не хотел, чтобы его посчитали трусом.

Однажды он шел куда-то, уже не вспомнить, а на пути просека простреливалась снайпером. Лесок был негустой, а просека шириной метров сто. На этой сотне метров двое уже лежали. Человек пять ждали темноты. Говорили, что кто-то проскочил. Лаптев и не помыслил о перебежке... Сидели люди, ждали, и он остался ждать. При нем какой-то незнакомый лейтенант решился. Подошел, сказал: «Долго до темноты. Проскакивали же ребята». И побежал.

Дурень... Он, быть может, уцелел бы, но зачем ему нужно было рукой-то махать уже в конце пути. Он почти добежал до спасительных деревьев, но приостановился и рукой махнул: давайте, мол, все в порядке. Здесь его снайпер и достал. И лейтенант остался лежать третьим на просеке, руками уже почти доставая подножья спасительных деревьев.

Смелость? Нет. У Лаптева ее не было. И на войне его вела лишь необходимость. Необходимость воевать. Так было и в последнем бою, когда целым остался, кажется, один только связной Лаптева. Остальных побил или ранило. И Лаптев в том бою отвоевался. Насовсем. Добрые люди потом победу праздновали и помаленьку забывали о войне. А Лаптев больше года по госпиталям валялся. Да потом на костылях несколько лет шкандылял. Так все и кончилось.

И тогда, в последний для него день войны,— Лаптев точно помнил — не было никакой смелости. Была нужда. Был приказ. И нужно было вести на прорыв роту. Лаптев это и сделал. Так что Лаптев никогда не был смелым. Но трусом его никто не имел права назвать. Повода не было, никогда.

И Алешка не имел права говорить сегодня: «Ты испугался». Чего Лаптеву пугаться? Просто-напросто ему не

нужна была Балашова. Незнакомый человек, чужая беда. И не пугался он, и не обманывал, а вот что не хотел — это точно. Да и кому, скажите, хочется чужую заботу себе на спину взваливать?

А теперь пришла своя беда. Лаптев знал, что Алешка не отступится и начнет кулаками добывать правду. И ему будет плохо. Только поэтому Лаптев, не задумываясь, сказал: «Я помогу». Не было и мысли о Балашовой, лишь об Алешке. Алешку нужно было спасать. А путь виделся только один — Балашова.

И вот сейчас, сидя на кухне, за чаем, Лаптев впервые по-настоящему думал о Балашовой. И, рассудив, решил пока с этой женщиной не видаться, чтобы не обольщаться мнимой легкостью дела. Он решил начать со школы, с директора.

3

Зима пришла ночью. Сначала реденький снежишко запорхал, затем пошел круче. И так, вперемежку, то гуще, то реже, валил до утра.

Сумерки были светлее, чем обычно. А поднялось ленивое зимнее солнце, и стало на земле просторно и ясно, точно в светлой горнице.

Лаптев подошел к школе не вовремя. Прозвенел звонок, и ошалевшая от первого снега пацанва заполнила двор. Белый бой вспыхнул мгновенно, как взрыв. Десятки снежков со свистом прошивали воздух, смачно врезались в спины, головы, кирпичные стены, столбы и стволы деревьев.

Кучка девчонок пряталась в коридоре. Время от времени они выглядывали оттуда — и тотчас же рой снежков гулко барабанил по двери и рядом. Со счастливым истошным визгом девчонки исчезали. Красные крашеные двери густо пупырились белыми метами, точно шляпа огромного гриба-мухомора.

Лаптев из-за забора глядел на эту снежковую круговерть и во двор идти не решался, опасаясь «контузии». И лишь после того, как звонок с трудом разогнал ребятню по классам, лишь после этого Лаптев пошел в школу.

Он предварительно позвонил из редакции, и директриса его ждала, хотя и не ведала о цели прихода. Так было лучше.

Поздоровавшись и недолго поговорив о славной погоде, Лаптев попрощался:

— Если нетрудно, я хотел бы сначала взглянуть на книгу приказов по персоналу, и тогда начнем разговор.

Книга оказалась в кабинете. Заполучив ее в руки, Лаптев ничего скрывать не стал и объяснил цель прихода. Директриса закивала головой понимающе.

— Да, да,— печально говорила она.— Конечно, мы знаем, что эта дама нас так просто не оставит. Значит, началась мороза.

На лице и в голосе директрисы особого раздражения не появилось, лишь некоторые нотки досады, печали. Может, просто она умела держать себя в руках. Вероятнее всего. По виду она была из породы настоящих сельских учительниц, которые всегда нравились Лаптеву. Гладкая прическа с узлом на затылке, густая проседь. Сухощавое лицо и фигура, согбенная за столом. Синий, ладно сидящий костюм, белая кофточка под ним. Голубой ромбик на лацкане. Лаптев уважал таких учительниц, скромных и строгих. И глаза у нее были хорошие, большие, добро глядели, внимательно. Сейчас они были печальны.

— Значит, началось,— повторила директриса, ожидая, пока Лаптев книгу приказов просмотрит и что-то запишет.— Зря вы там роетесь,— сказала она, вздохнув.— Не там главное. Там есть у нее взыскания, и уволена в соответствии с законом. Но...— значительно произнесла директриса, подчеркивая важность следующих слов. И Лаптев поднял на нее взгляд.— Но с этими взысканиями, которые там записаны, она бы могла у нас работать и работать. Дальнейшее пребывание Балашовой в нашем коллективе невозможно вот почему...

Директриса вынула из стола тонкую розовую тетрадь и показала ее Лаптеву, потом раскрыла, но не для того, чтобы читать.

— Первое,— сказала она.— Балашова, пользуясь положением делопроизводителя, материально ответственного, и одновременно председателя родительского комитета класса, где учился ее сын, используя мое доверие и, конечно, недостаточный контроль, сумела... и, видимо неоднократно, обмануть нас и присваивала деньги.

— Каким образом? — спросил Лаптев.

— Не очень сложно. Она, как делопроизводитель, вы-

давала себе как председателю родительского комитета класса деньги для материальной помощи нуждающимся ребятам. Покупала вещи, пальто, брюки, ботинки, подешевле. Доставала счета на более дорогие вещи. Разницу клала в карман. Это выяснилось почти случайно. Пришли родители ребят, которым мы помогли, и раскрыли нам глаза. Мы едва замяли большой скандал. Очень большой. Здесь все,— указала директриса на раскрытую тетрадь, а потом начала листки оттуда вынимать и издали показывать Лаптеву.— Вот заявление родительницы, в котором она раскрывает обман. Вот поддельный счет, завышенный. Вот письменное подтверждение специалиста, торгового работника, о том, что действительная цена вещей, врученных родительнице ученика, ниже цен, указанных в счете. Вот еще одно заявление, другой родительницы. Вы потом ознакомитесь. Здесь все факты. Фамилии, документы и прочее. Но, кроме этого, у нас есть подозрения, что Балашова была нечиста на руку и в выдаче зарплат. Она подавала в районо неправильные данные о количестве часов. Пользуясь моей бесконтрольностью,— честно призналась директриса, поднимая на Лаптева печальные, даже влагой подернутые глаза.

— Она себе добавляла часы? — уточнил Лаптев.

— Ну, нет... то было бы слишком заметно. Она делала несколько по-другому. Были у нас такие учителя, которые на все шли. К счастью, их теперь нет среди нас. И наконец, я вам скажу еще. Но это просто для разъяснения, чтобы вы поняли. Говорить об этом не надо. Где нужно, мы уже сказали.— Директриса, волнуясь, прошлась руками по гладкой прическе.— Самый большой наш позор,— выдохнула она,— в том, что Балашова развращала учеников.— И, устало подперев голову, директриса с каким-то немym укором глядела на Лаптева большими печальными глазами.

И Лаптев оцепенел под ее взглядом.

— Да, да... К нашему, к моему стыду...— повторила директриса.

— Как?...— с трудом выговорил Лаптев.— В самом деле? — Голос его спустился до шепота.

— Да, она вела уроки труда с девочками старших классов. И она им такого напреподавала,— закрывая от ужаса глаза и покачивая головой, проговорила директриса.— Такой передала опыт... Таких советов надавала...

И это не день, не два, это годами длилось. К нашему стыду, к моему. Вот почему, уважаемый товарищ...

Телефонный звонок прервал ее речь. Она трубку взяла и, выслушав, ответила:

— Извините, я сразу не смогу. У меня тут товарищ из нашей районной газеты. Он по поводу Балашовой. Да... Вот видите...— Помолчав, вероятно что-то выслушав, директриса закончила разговор бодро: — Да, да, поняла вас, поняла. Сейчас иду.— А потом Лаптеву сказала: — Простите. Но меня срочно вызывают в районо. Начальство...— доверительно улыбнулась она.— Так что закончим разговор позднее. Я могу к вам зайти. Там рядом. Позвоню, как освобожусь.

Розовая тетрадь отправилась на прежнее место, в директорский стол.

И позднее, уже у себя, в редакции, Лаптев подсадовал, что не познакомился с ней. Хотя сделать это будет и завтра не поздно. А можно и сегодня.

Из книги приказов Лаптев успел взять на заметку два выговора Балашовой за опоздание на работу, еще один за несвоевременную подготовку документов, строгий за какую-то оплошность, еще один за невыполнение задания. Все выговоры были вынесены в этом году. Это не понравилось Лаптеву. По книге приказов выходило, что ранее Балашова работала добросовестно, а нынешний год вдруг взяла да испортилась. Хотя это можно объяснить смертью мужа, душевным расстройством. Но выговоры эти, простые и строгие, были, в конце концов, лишь поводом. Это признала сама директриса. Об этом говорил инспектор. Иное дело — махинации с одеждой учеников, присвоение денег. Обвинение очень серьезное.

Если все доказано, как директриса говорит, то можно и нужно увольнять, передавать дело в прокуратуру и ни перед кем не оправдываться.

Но тут еще одно обвинение. Даже более страшное. И хотя Лаптев не знал сейчас, о чем говорила Балашова ученицам своим, какой такой опыт им передавала, но он полагал, что директриса не зря за голову хватается и просит о молчании.

Лаптев не знал Балашову, но, даже не зная, по слухам, относил ее к разряду не очень серьезных женщин, симпатичных, легкомысленных, простоватых. Такая и без злого умысла, по глупости, могла наболтать с три короба.

В общем, ничего утешительного Лаптев пока на руках не имел. Но предаваться отчаянию тоже не имело смысла, потому что была одна зацепка. Подпорки она называлась. Если дом стоит прочно, его не подпирают. А если с одной да с другой стороны начинают его укреплять да поддерживать — дело нечистое.

Балашову увольняли за нарушение дисциплины — подтверждением тому пригоршня выговоров, но это был, оказывается, лишь повод, а на самом деле — за воровство, если вещи своими именами называть. А на самом-самом деле даже не за воровство, не только за воровство, а за более страшное, о котором теперь и вслух говорить не хотят.

Все эти подпорки не нравились Лаптеву. И он жалел о неудачном разговоре с директрисой, слишком коротком, чтобы хоть малое выяснить. Но разговор, конечно, будет иметь продолжение. К этому Лаптев и готовился, когда его вызвал редактор.

Дядя Шура Лаптеву и сесть не предложил, а долго глядел на него в упор маленькими, из-за очков злыми глазами.

— Ты что, пьяный? — наконец спросил он.

Лаптев лишь плечами пожал, усмехнулся.

— А тут смеяться нечего, — сказал редактор. — Только одно объяснение, что ты или пьяный, или сумасшедший. — И выдержал паузу. — Мы с тобой о чем вчера говорили? Битый час о чем я тебе толковал? Ты ничего не понял?

— Я же не могу за один день все сделать, — начал оправдываться Лаптев. — Составил я список комбайнеров.

— Иди ты со своими комбайнерами знаешь куда... И дурачка здесь не строй. Я тебе не про комбайнеров... Хотя тебе ими... ими надо заниматься! — Редактор даже приподнялся над стулом. — За это тебе деньги платят! А не за то, чем ты занимаешься. Я тебе русским языком вчера сказал: не трогай эту бабу. Она сама во всем виновата, пусть и очищается. Говорил я тебе?

— Говорили.

— Запретил я тебе этим заниматься?

— Ну-у, а здесь получилось дело такое... — начал Лаптев.

— Не нукай! — оборвал его редактор. — Не ты запря-

гал, не тебе нукать. Пока вот здесь,— ухватился редактор руками за стол,— сижу я. И ты будешь выполнять то, что я тебе говорю, а не то, что тебе в голову взбретет. А иначе ищи себе другую работу. Понятно?

— Понятно,— почти равнодушно ответил Лаптев и спросил: — А что случилось?

— Ха! — восхитился редактор.— Ну, ты даешь! Ведь я у тебя спрашиваю. Я! Мне из райкома звонят, Пулин звонит и говорит: «Не надо заниматься Балашовой, без вас занимались, разобрались и приняли решение». Я ему, как дурак, отвечаю: «Мы не занимаемся, вставал такой вопрос вчера, но мы решили не вмешиваться». Он мне сразу и выдал: «Ни черта ты,— говорит,— не знаешь, что у тебя в редакции делается. Твой сотрудник только сейчас целый допрос директору школы устроил». Тут я и... — развел редактор руками,— как рыба... Вот так. Так ты меня перед Пулиным дураком и выставил. Спасибо.

Редактор надолго замолк, отвернулся, глядел в сторону. Наконец он решил, что с Лаптева достаточно,— тот сопел, вздыхал, переминался с ноги на ногу, покраснел.

— Вот так с вами работать,— проговорил дядя Шура мягче.— Вы портачите, а мне вот сюда,— похлопал он себя рукой по загривку.— Вот так получается.— Он подпер рукой мягкую щеку и спросил с нескрываемым любопытством.— А чего ты все-таки туда полез? Зачем? Ведь я ж тебе сказал...

— Я должен выяснить, в чем дело,— ответил Лаптев.

— А зачем выяснять? Она тебе кто, вот так, откровенно... Ты что, к ней тоже похаживал? А? У-у, хитрый жук...

Лаптев смутился. Правду объяснять было бы долго и не нужно, и потому он ответил просто:

— Мне надо выяснить, виновата ли она. Разобраться. И я разберусь.

— Чего, чего? — недоверчиво спросил редактор.— Ты опять за свое? Ты... Ты... действительно... — поднялся он.

— Да, мне надо разобраться, и я разберусь,— монотонно повторил Лаптев и набычился, увидев, что редактор идет к нему.

Дядя Шура взбесился. Он и кричал, и кулаком по столу молотил, и вздымал руки, и куда-то указывал, и посылал — все было.

В коридоре и по другим кабинетам слышен был по-бабьему тонкий, даже визгливый в крике дяди Шурина голос. И сотрудники редакции поеживались, представляя, как неуютно сейчас дяди Шуриному собеседнику.

В потертом до блеска синем мешковатом костюме стоял Лаптев посреди светлого, зеленью уставленного кабинета. Стоял, безвольно опустив голову. Мослатые кисти, как у подростка, выпирали из рукавов. Глаза на полу что-то разглядывали. Крутой лоб морщинился. Лицо покраснело, шея и даже лысина. В общем, виноватый человек стоял, всем видом каялся. И, глядя на него, редактор полегонечку утих, спросил:

— Ты теперь все понял?

— Понял,— негромко ответил Лаптев.

— Вот так,— удовлетворенно сказал дядя Шура.— Пока вас на бога не возьмешь, толку не будет. Вы ж не понимаете. Ну, иди и гляди мне...

Лаптев пошел к себе.

Весь этот крик и шум был неприятен, конечно, но и желанного — какого редактор хотел — действия на Лаптева он не оказал. Так что зря дядя Шура орал и зря радовался. Он просто не знал Лаптева.

Лаптев не был упрям, нет. И настырным не был. Он очень любил спокойную жизнь: на работе делать свою работу, делать ее хорошо, насколько сил хватит; после работы отдыхать: глядеть телевизор, разговаривать с Алешкой и женой, если мясо попадется, лепить и есть пельмени, желательно со сметаной. Можно книги почитать, интересные. По садоводству, огородному делу или вообще про природу, зверей, путешествия. А с весны до осени, все теплое длинное лето с апреля до октября, Лаптев любил работать на даче. За два года он успел обзавестись дачкой, построить там деревянную халабуду, посадить огород и сад, бахчу он держал отдельно.

Сад был заложен серьезный. С хорошими яблонями: «мекинтош», «симиренко», «джонатан», «звездочка» — Лаптев яблоки любил. Пара груш была посажена, абрикосы, черешня, вишня. Конечно, виноград. Один сорт ранний — «жемчуг Сабо». Средние — «лупоглаз», да «черный дубовский». Ну и поздние: «казбинка», «крюковский», «пухляковский белый». Для вина Лаптев завел «ркацителю» и «саперави». Винограда был полный набор. Было бы глупо жить на юге и не иметь винограда.

Но пока подрастали деревья, Лаптев овощами серьезно занимался. Картофель завел «приекульский» и «харьковский» и снабжал этим ранним картофелем всю редакцию. Огурцы у него были тоже хорошие: и поесть, и в банки закрутить, и раздать доставало. Помидоры на зависть удавались, особенно «бычье сердце». И перец был неплохой, синенькие. Арбузов на бахче тоже хватало.

И дело было, конечно, не в везучести, а в руках, которых Лаптев не жалел, в труде. Он пропадал на даче и бахче все свободное время. Дотемна.

Это была жизнь. Зимой, правда, можно было ходить на рыбалку. Но летом все равно было лучше. На зеленой теплой земле, на легком ветерке, под ясным солнышком.

Лаптев любил спокойную жизнь. Так жили на земле его отец, дед, прадед. Спокойная, крестьянская кровь текла в их жилах, она ярилась лишь в тяжелой работе да в беде.

Тяжкой работы Лаптеву не досталось. Но в беде...

Лаптев все продумал нынешней ночью и все решил. Алешка, младший сын, последыш, попал в беду, и спасти его мог только отец. И теперь уже никто и ничто не могло остановить Лаптева. Потому что остановиться значило потерять сына.

Много лет назад старший, Володька, который сейчас был летчиком, мог остаться без ноги. Болезнь началась как-то незаметно, парнишка не привык жаловаться. Потом в районной больнице его лечили. Лечили, лечили и долечили. Позвали Лаптева и сказали: «Надо отрезать». Лаптев домой забежал, взял деньжонок да харчи. Полушубок надел и отправился. Станция лежала в пятидесяти километрах. Хорошо, обоз попался, за десять часов добрались. Тяжелая дорога была, снежная.

В областном центре врачи постановили тоже: «Резать, пока не поздно». Если бы сам Лаптев не был хромым, если бы сам он на костылях не напрыгался, то может быть...

Завернул Лаптев Володьку в одеяло и потащил дальше, в Москву. Как он там мыкался, как бился, одному богу известно. Но в конце концов попал Володька в хорошие руки, в клинику, к профессору, и правая нога его осталась целой. Даже в летчики сумел выйти.

Лаптев об этом случае не любил вспоминать, зачем ворошить беду. А когда в первое время люди пытали его:

как, дескать, хватило духу аж в самую Москву добраться и там все устроить, отвечал коротко: «Прижмет — и до бога дойдешь».

Не для того рожал Лаптев детей, чтобы бросать их посреди дороги, как худых щенят. И вот двое уже ушли, своими домами жили. Остался последыш, Алешка. Надо было его до ума доводить.

Оттягивать Лаптев не стал и в обеденный перерыв, не заходя в столовую, снова отправился в школу. Все вышло именно так, как он предполагал. Даже несколько хуже.

Директриса, как и утром, сидела за своим столом. Но теперь это был другой человек: она будто выросла, выпрямилась, жердью из-за стола торчала; а в глазах уже не участие и печаль светились, а поблескивал холодок властного небрежения.

— Никаких сведений... Очень занята...— говорила она тоном, не допускающим возражений.— Прошу не вмешиваться... Не могу позвонить вам... А с учениками тем более никаких бесед...

— Послушайте,— сказал Лаптев.— Я разговариваю с вами не как газетчик. Газета не будет об этом писать. Я как человек хочу разобраться. В частном порядке. Как отец. Как знакомый Евгения Михайловича, которого я уважал. Понимаете, в частном порядке. Разве обязательно нужен какой-то мандат, чтобы знать правду? По-моему, это право каждого человека.

— Ах, в частном порядке...— иронически протянула директриса.— В каком еще частном порядке? У нас школа, шко-ла... У нас дети. Де-ети... И мы не позволим,— возвысила она голос.— Мы не позволим устраивать здесь какое-то... варьете,— улыбнулась она, очень довольная найденным словом,— не позволим. Как бы этого ни хотели отдельные... частные... мужчины, которым на детей наплевать, а лишь бы...— кашлянула она многозначительно.— Между прочим, вы не первый. Уже два защитника обращались в райком. Их как следует отчитали,— злорадно сказала директриса.— Вы третий. Почему-то все мужчины. Странно.

От негодования лицо ее разгорелось, стало моложе, а глаза презрением пылали и к Лаптеву, и к Балашовой, и к кому-то еще. Слишком много огня в них было, для двух-то людей.

Лаптев понял, что здесь ему дожидаться нечего, и, прощавшись, ушел. Директриса проконвоировала его до ступеней. Видно, опасалась, чтобы он по школе не пошел бродить да выспрашивать. Но Лаптев этого делать пока не собирался. Так что зря она раньше времени беспокоилась.

Короткая дорога от школы до столовой лежала через парк, а вернее, сквер. Уже на памяти Лаптева за это малое время сквер уменьшился почти вдвое. Школа спортивную площадку себе выстроила среди деревьев, вырубив те, что мешали. Хотя рядом, с обеих сторон, лежала пустая земля. Но видно, захотелось в тени спортплощадку устроить. Недавно здесь новую линию освещения проводили. Кое-какие деревья и большие ветви мешали проводам и столбам. Сквер проредили. Пестренькие фермы для светильников стояли теперь в три ряда.

Но жил еще сквер, жил. Старые тополя высоко вздымались убеленные снегом ветви. Приземистые клены прочно стояли на черных своих лапах. Веселая птица синица звонко тренькала где-то в ветвях. Лаптев остановился и, задрав голову, начал искать ее. И глаза его невольно увидели за черной мешаниной ветвей огромное, опрокинутое над миром небо. Сегодня оно было чистым, и ясная его голубень была согрета мягким солнечным светом. И оттого казалось, что не только там, далеко над землей и деревьями, лежит эта прозрачная синь. Казалось, что она вокруг, что мир залит ею всклень и потому замер. И лишь веселая, обрызганная этой небесной голубизной, птица весело поет белому свету о его счастливом нынешнем часе.

Чей-то говор потревожил Лаптева, и он пошел дальше. Но уже не было в душе его той боли, с которой выходил он из школы. Все как-то немного развеялось.

Столовая уже опустела и казалась просторной. Молодая женщина в коричневой кожаной юбке и светлом свитере легко прошла и села почти в самом конце зала, у окна. Лаптев обедал и время от времени глядел на нее. Ему показалось знакомым это лицо: матовый гладкий лоб с короткой челкой над ним, прямая линия носа, четкого очерка губы и подбородок, высокая шея, волосы до плеч. Эта женщина была непохожа на тех, кто всегда обедал здесь, нетороплива, спокойна. Потом она прошла мимо Лаптева, поглядела на него мягким, по-женски добрым

взглядом. «Может быть, это и есть Балашова»,— подумал Лаптев. Но тут же понял, что Балашова должна быть старше, ей тридцать с лишним, по меньшей мере. А эта женщина совсем молода.

Но почему-то он не мог забыть о ней, да и не хотел. И в своей комнате, за столом, он нет-нет да и вспоминал. А вспомнив, оставлял работу и глядел в окно. И лицо его морщирила печальная и чуть смущенная улыбка.

В одну из таких минут и застал его редактор, неслышно отворив дверь. Он поглядел на Лаптева, хмыкнул, а усевшись за стол, рассматривал его долго, подчеркнуто внимательно. Разглядел что-то ему видное, сказал:

— Ну-ну...— и, подавшись вперед, к Лаптеву, налегая грудью на стол, спросил: — Ты толком мне можешь объяснить, что происходит? Опять звонит Пулин. Опять, говорит, твой приходил. Ну, объясни толком, чего тебе надо?

— Мне нужно узнать все точно, всю правду,— ответил Лаптев.— Я хочу...

— Брось ты мне хреновину городить,— досадливо перебил его дядя Шура.— Ты мне откровенно скажи, чего тебе надо? Чего ты добиваешься? Объясни, кто она тебе? Любовница? Так и скажи, я пойму. А хреновину не городи, всякие басни не рассказывай. Мы с тобой не дети, и нечего мне мозги пудрить. Ну, расскажи честно, и вместе подумаем, как быть, чем помочь. А так же нельзя. Я тебе запрещаю этим заниматься, ты молчишь, сопишь, вроде соглашаешься. А сам снова лезешь. Пулин на меня орет: что у вас, говорит, за бардак? Мы же, в конце концов, орган райкома, а не какая-то анархическая листовка. Правда? Ты это понимаешь? Ты же не мальчик? Так же нельзя, это несерьезно.

— Я был у нее в обеденный перерыв,— сказал Лаптев.

— При чем тут обеденный перерыв?

— А при том, что я буду заниматься этим делом не как сотрудник газеты, а в свободное время. Частным порядком буду разбираться. В рабочее время свое дело делать. А чем я занят после работы, никого не касается. Мое личное дело.

Дядя Шура даже рот раскрыл от удивления.

— Вот это да...— наконец вымолвил он.— Частное расследование? Силен мужик. Прямо как в кино. Значит, частная лавочка. Интересно. В книжках читал, в Америке такие есть. Теперь, выходит, и у нас появились. Ясно...—

проговорил он все это бодрым голосом, а потом вдруг устало добавил: — Значит, темнишь, не хочешь рассказывать.

— Я правду говорю,— ответил Лаптев.

— Какая там правда,— начал злиться редактор.— Какие могут быть частные лавочки. Чего ты с ума сходишь? Ну, выгонят тебя с работы, вот и вся недолга. Потом схватишься за голову.

— Ну и выгонят, не помру,— в тон ему ответил Лаптев.

— О-ох, какой ты гордый,— покачал головой редактор.— Нет, нам с тобой особо гоношиться нельзя. Мы кто? — спросил он доверительно.— Специальность у нас какая есть? Вот это,— поднял он над столом листки бумаги и бросил их,— это сейчас не специальность. Любого человека, вон из школы, из десятого класса, возьми, и через месяц он будет не хуже нас работать. Так что гордиться не надо. А вот прогонят, и кому мы нужны? — развел он руками.— Спецули... Только горбом ворочать, так устарели. Так что ты не больно гордись. Профессия наша, надо прямо сказать, худая. Это инженер или даже техник любой, даже слесарь какой-нибудь, токарь-пекарь, да вон наша уборщица может с места на место бегать. А мы нет. Вот так. Худо-бедно, платят тебе почти две сотни. Не клят, не мят, под крышей сидишь. Да и не столько работаем, честно говоря, сколько языками мелем. Это все надо ценить, а не заедаться.

Дядя Шура тяжело поднялся из-за стола, очки снял, лицо свое отечное крупными ладонями помассажировал и, уходя, сказал:

— Не лезь в бутылку. Одумайся. Пулин — мужик серьезный. Так что гляди не зарвись. На первый случай объявляю тебе строгий выговор. А как же ты думал? Распишись за него.

Редактор ушел. Лаптев знал, что сейчас он в райком будет звонить, Пулину, и все объяснит, расскажет, оправдается. Он, прежде всего, дорожил своим положением. И не хотел, чтобы чья-то дурь ему жить спокойно мешала.

В пятницу вечером Лаптев обо всем рассказал сыну. И хотя хвастать было нечем, он все равно рассказал. Ведь Алешка мог подумать, что отец отлынивает, обманывает

его. Этого допустить было нельзя. Рассказывая, Лаптев посетовал, что так и не сумел заполучить в руки розовую тетрадку.

Позднее, в раздумьях, Лаптев все более и более понимал, что именно в розовой тетради содержится главное, без которого дальше идти трудно. И потому он так и эдак прикидывал, как бы ему в розовую тетрадку заглянуть. Но сколь он ни прикидывал, в конце концов выходило, что до тетради ему не добраться и надо искать другие пути. А этих путей было вовсе не много, пока Лаптев видел лишь один: учителя. Учителя школы. Они работали вместе с Балашовой и могли рассказать о ней. И о розовой тетради они знали, конечно. Ведь не единой властью своей директриса Балашову увольняла. С кем-то хоть для виду, но советовалась. Так что пусть и немногие люди, но должны были знать. А женская артель — дело известное — секретов не держит. На это и надеялся Лаптев.

Но надежды оставались надеждами, а дело не двигалось. Открыто появляться в школе Лаптев не хотел и потому искал любую другую возможность. В столовой торчал, поджидая учителей, но они туда редко заходили. В редакции старался не сидеть, больше ходил, в районо заглядывал, все вроде по нужде. На деле же одного добивался: встретить кого-либо из учителей, поговорить с глазу на глаз.

Лаптев в поселке был человеком новым. И мало кого знал. Его тоже. Но встречи все же были. Были и беседы. Обычно короткие.

— Балашова? — переспрашивали его с некоторой заминкой. И дальше шло почти одинаково: — Лично я относились к ней неплохо. Но вот эта история с деньгами. Это ужас... Позор, позор. Деталей не знаю. Поговорите с директором. Или в районо. Извините, идти надо... Уроки. — И все это спехом, с оглядкой.

После нескольких таких бесед Лаптев понял, что эта суэта и разговоры полуукрадкой, в коридорах, пользы не дадут, и подумывал об ином. Как вдруг...

На обед он пошел рано, есть отчаянно захотелось. Вслед за ним в столовую вошли две женщины. Он и раздеваясь их видел, и стояли они за ним у кассы и раздачи. Несмотря на разницу лет: одна — пожилая, другая — молоденькая, бросилась в глаза их похожесть. Это были, конечно же, мать и дочь. Дочь была выше, может, из-за

молодой стройности, туфель и прически. Но южная сухая смуглота лиц, легкая русская курносина, ясные карие — и у молодой и у старой — глаза — все говорило о родной крови. Даже очки они носили одинаковые, в тонкой позолоченной оправе. У старшей на платье — орден Ленина и какой-то значок.

Лаптев уже за еду принялся, когда старая остановилась у его стола и спросила:

— Можно к вам?

— Пожалуйста,— ответил Лаптев, несколько удивленный, потому что свободных мест вокруг было предостаточно.

— Лаптев? — спросила женщина, усаживаясь.

— Да.

— А по имени-отчеству?

Лаптев назвал себя.

— Очень хорошо! — одобрила женщина и повторила, взмахнув рукой: — Семен Алексеевич! Прекрасно! Хорошее русское имя. Люблю русские имена. Настоящие! Семен, Иван, Федор... Говорить-то,— доверительно наклонилась к Лаптеву женщина,— лишний раз произнести хочется. Фе-дор... Василий... А то понапридумывают каких-то Игорььков, Олегов, Эдиков...

Дочь, севшая рядом, спросила:

— А Игорьь и Олег — турецкие имена?

— Скандинавские. Холодные как лед,— убежденно ответила мать.

— А Федор, Иван?..

— Не учи. Это имена наши родные, крестьянские, от дедов и отцов, и менять их на княжеские побрякушки — недостойно. Да что это за имя, если оно даже пренебрежительной формы не имеет. Например, разозлюсь я, кричу: сейчас я тебе задам чертей, Ванька! А к этим князьям как обращаться? И-го... Иго-го, в общем. Тьфу!

Лаптев даже есть перестал, слушал. Дочь смеялась, а мать ее, успокоившись, сказала:

— Жену вашу знаю, лечусь у нее. Душевный человек. А с вами вот не приходилось. Это дочь моя, Катерина.

Они некоторое время обедали молча. Затем старшая ошарашила Лаптева, спросив:

— Простите, вы что, малахольный?

Лаптев, поперхнувшись, выпрямился на стуле. Дочь произнесла укоризненно:



— Ма-ама...

— Не мякай,— отмахнулась мать.— Я знаю, как и с кем разговаривать. Это наш человек, русский, и я по-русски его и спрашиваю. Да это вовсе и не обидно, малахольным-то быть в наше время. Это лучше, чем хитрить да поддакивать. Честнее. По-русски. Вот вы ходите и у всех наших учителей выпрашиваете про Балашову. Конечно, только малахольный так сделает. На что вы надеетесь? Кто же вам правду скажет? Хорошо, если грязью не обольют, а лишь пожмут плечами: не знаем, мол, не ведаем, в другом царстве живем. У начальства спросите, ему виднее, а у нас уроки, уроки, уроки...— передразнила она своих товарок так верно, что Лаптев улыбнулся.— Точно? А правда в том, что Балашова очень неглупая женщина и не скрывала этого. Дуру из себя, как все мы, не строила, школьную учительницу. А в то же время сама за себя заступиться не может, как все порядочные люди. Не на горло, а на бога надеется. Бог-то он бог, а пока жив был Евгений Михайлович, то наша Кабаниха ее тронуть боялась. Лязгала клыками, а боялась. Знала, что Евгению Михайловичу не раз директорство у нас предлагали, а он отказывался. Вот и терпела. А не стало Евгения Михайловича, руки развязались. Ко-ому?! — возвысила она голос.— Кому есть дело до какой-то Балашовой! Кто из-за нее кровь портить будет! Тем более у Кабанихи братец есть. Никто слова не скажет. А если кто скажет, то сумасшедшей старухой назовут, выжившей из ума! — воскликнула она.

— Мама...— остановила ее дочь, оглядываясь.

Столовая начинала заполняться людьми.

— Ешь, мама, остыло все...

— Не могу я эту бурду есть,— отодвинула мать в сердцах тарелку.— Вот так, Семен Алексеевич, малахольный вы человек, не обижайтесь уж, сама такая. Я просто удивляюсь, как это вы решились, ваша газета. Я, извините, к ней всегда относилась очень снисходительно. Думаю, по заслугам. Ведь Балашова в прошлом году и к вам стучалась. Мы с ней вместе к вашему редактору ходили. Вы слышали о нашей истории с отоплением?

— Нет,— ответил Лаптев.

— Вот так,— горько вздохнула женщина.— Целых два месяца дети мерзли. Триста ребятишек мерзли из-за того, чтобы тепло было одному хаму. И никто в поселке ничего не знает!

— Ты будешь, наконец, обедать или нет? — спросила дочь. — Успеешь поговорить.

— Ну, ладно, ладно, — устало ответила мать и наклонилась к еде.

Она будто уменьшилась в росте, сгорбатившись над столом, и дочь теперь была на голову выше ее.

Пообедав, они вышли вместе.

— Так вот, — продолжала начатый разговор учительница-мать. — В прошлом году наши начальники районные, Уманов и его друг, решили с большими удобствами жить. С паровым отоплением. Дома-то их знаете где, целый квартал от школы. Ну и что... Выкопали и протянули пер-сональную теплотрассу. У них стало тепло. Печей не надо топить. В школе стало холодно. Мы ж от котельной на самом краю. А тут вообще на каком-то аппендиксе оказались. А наша директриса слова против начальства, конечно, не скажет. Балашова ей прямо в упор говорила. Кабаниха в ответ: идите, мол, сами, если такая смелая. Балашова и пошла. А везде один ответ: в школе неправильная отопительная система. А та самая, персональная, теплотрасса ни при чем. Выходит, была правильная все годы, а теперь искривилась. Ходили мы с Балашовой к вашему редактору. А он скучный сидит, глаза равнодушные, прямо судачинные. Глядит на нас и глазами так говорит: чего вы, дуры, не понимаете, что ли, кто такой Уманов?

Только в области Балашова какого-то толку и добились. И то какого? Школу на неделю закрыли, отопление пер-ределявали, насосы какие-то ставили. Вот так. Это вам о чем-то говорит?

— Мама, я помчалась, — сказала дочь, посмотрев на часы.

Она пошла не в школу, а мимо сквера к автобусной остановке. И, глядя ей вслед, Лаптев пытался вспомнить, на кого похожа эта девушка. Но вспомнить не удалось. Подосадовав на свою забывчивость, Лаптев сказал:

— Хорошая у вас дочка. Хорошо, наверное, вместе с дочерью работать.

— Дочка не плохая, — рассеянно ответила мать. — А вот работать... Говорила я ей, дуре! — с прежней энергией вдруг воскликнула мать. — Не вздумай, говорю, в учителя идти! Мать всю жизнь мучилась, еще ты... Так разве докажешь... — Она запнулась и вздохнула протяж-

но: — О-хо-хо... Нет, Семен Алексеевич, никогда не думала, что буду пенсии с нетерпением ждать. Вот уж не думала не гадала. А жду... Другие люди сейчас нужны школе. Сильнее нас. А то потонет она в этих процентах, процентах дутых... никому не нужных...

С тротуара они свернули на дорожку сквера и пошли к школе. Еще вчера, с самого утра, повеяло теплом. Небо обложило тучами. Снег подтаивать начал. Стволы и ветви деревьев потемнели. И какой-то весенней прелью повеяло; горькой, мокрой тополевой корой, лежалым листом повеяло враз. Совсем по-весеннему, словно не в декабре, а в синем марте.

Ребятишки ладили бабу. Снег все же мелким был да еще осел от тепла, и потому вслед за комом, который катили ребята, тянулась лента черной, мокрой земли. Да и ком-то получался грязный, с землицей.

— Значит, Балашова с характером человек...— проговорил Лаптев.

— Как вам сказать... Я ее не очень хорошо знала. Они здесь люди новые... Но держала она себя довольно независимо. Мнений своих не скрывала. А это по нынешним временам редкость. Начальству это, сами знаете, не всегда нравится. Я вам об одном случае рассказала, а были и другие. И директорша наша ничего не забыла. И вот...

— Но это же бессовестно. Хоть для виду подождала бы. Я смотрел книгу приказов, так первый выговор где-то через месяц после смерти Евгения Михайловича.

— Это для вас бессовестно. А для других это в порядке вещей. Вы директоршу нашу поймите. Сколько лет нельзя было трогать, желчью уже изошла. А теперь можно. Где уж тут ждать... Хоть отыграться... Меня вот тронуть нельзя. Орденоносец и заслуженная... Специально ношу, чтобы помнили,— объяснила учительница.— Меня лишь выжившей из ума старухой можно представить. А Балашову можно...

Школа была уже рядом. Звонок прозвенел, и детвора закружилась, загомонила вокруг.

— А что с одеждой? — спросил Лаптев.— Какие-то подделки, с деньгами что-то?

Учительница, секунду помедлив, сказала:

— Мне, откровенно говоря, не верится. Но... по моим сведениям, доказательства, даже какие-то документы там

есть. Сделаем так. Я к вам зайду и приведу одну мою бывшую ученицу. Она у нас профсоюзный начальник. Я ее не трогала, но сейчас сам бог велит. Так что ждите. Она должна помочь.

Помощь пришла раньше, и с другой стороны. Но Лаптев ей вовсе не обрадовался.

Вечером, только он домашний порог переступил, появилась соседка с известием: «В магазине котлеты продают». Жена, конечно, туда побежала.

А на кухне сидел сын. Вошедшего отца он встретил с явной радостью и выложил на стол тонкую ученическую тетрадку в розовой обложке. Лаптев завороченно поглядел на тетрадь, потом на сына, снова на тетрадь. Он сразу понял, что эта та самая тетрадка, в которую ему так хотелось заглянуть. Но теперь, когда она лежала рядом, Лаптев даже не потянулся к ней, а спросил испуганно:

— Где ты взял ее? — хотя вопрос был совершенно лишним: глупо было бы думать, что директорша самолично подарила эту тетрадь Алешке.

Выражение торжества и радости на лице сына сменилось растерянностью:

— А что... что? Ты же сам говорил.

— Где ты взял ее?

— Я не могу сказать, — обмяк на стуле Алешка.

Но Лаптеву было сейчас недосуг заниматься педагогикой.

— Где ты ее взял? — спросил он жестко. — Ду-урак! Ты соображаешь, что делаешь? Если узнают, что эта тетрадь у меня, то не ты будешь виноват... Я... Я... Это я ее украл. Я тебя научил! Я тебя послал, заставил! Вот что получается. Соображаешь? Где ты ее взял?

Сын кое-что, видимо, начал понимать. Он вскочил со стула и торопливо заговорил:

— Не бойся, папа. Я даже не заходил туда. Но она ведь нужна нам. Нужна! Там все написано! — И он большой белой рукой подвинул к Лаптеву тетрадь.

Лаптев ее не принял.

— Садись и рассказывай.

— Там лаборант работает, в физкабинете, Валерка. Он нашу школу в прошлом году кончил. Я ему не сказал, что в тетради. Я сказал, что это с девчонкой связано. С письмами, учителя будто бы перехватили и надо забрать. Я ему

микрофон за это дал, японский, который дядя Миша привез. Я его у кабинета ждал, на атасе. Он не знает, что в тетради, я сразу забрал. И не скажет никому. А иначе мы не нашли бы... Конечно, я не подумал. Но я как лучше хотел, папа.— И обтер ладонью крупный бисер пота на носу и на лбу. Румянец пожаром полыхал на его нежном мальчишеском лице. Даже уши рубиново горели.

— Ясно,— коротко сказал Лаптев.— Но ты теперь понял, что будет, если узнают, что тетрадь у меня? Ты понял, что не вы — ребята — будете виноваты? А?

Сын молча кивнул головой.

— Тетрадь надо положить на место сегодня же,— сказал Лаптев.— Он еще там, лаборант?

— Да. Он с вечерниками занимается.

— До которого часа?

— Он там допоздна. Пленки записывает.

— Ладно. А сейчас,— открывая тетрадь, сказал Лаптев,— раз уж так случилось, посмотрим.

Он начал с первой страницы. Но, пробежав глазами несколько строк, вдруг представил себе, как входит в свой кабинет директриса, открывает стол и... На мгновение представив себе это, Лаптев сразу интерес к тетради потерял и поглядел на часы. Они показывали начало восьмого. «Уж если не сейчас,— подумал он,— то утром она может спохватиться. А днем тетрадь не подсунешь».

— Тащи аппарат,— сказал он сыну.— Пленка там есть.— А сам настольную лампу принес для подсветки.

Он аккуратно переснял все писанные листки из тетради и лишь потом, поглядев на Алешку, который стоял рядом с видом настороженным, даже испуганным, сказал сыну таинственно:

— А занавеску чего не задернул?

Алешка метнулся к окну, Лаптев же расхохотался во весь голос.

— Шпионы...— всхлипывая, говорил он сквозь смех.— Господи, до чего дожили...

А отсмеявшись, сказал сыну:

— Одевайся, поехали. Надо сейчас же положить на место.

— Я сам, папа...

— Меньше разговаривай, поехали.

Проехав свои шесть остановок, Лаптев с Алешкой по-

шли к школе с тыла, от аптеки. Еще издали Лаптев начал искать глазами окно директорского кабинета. У него сердце екало при виде желтых окон. Но, благодарение богу, в директорском кабинете было темно.

— Скажешь, забрал, мол, нужное, а это надо положить, а то, мол, хватятся,— на ходу шепотом принялся наставлять Лаптев сына.— Скажешь, мол, обязательно сейчас, а то завтра...

— Ну, ладно, ладно,— также шепотом ответил ему сын.— Ладно. Ты только не ходи в школу. Где-нибудь в сторонке, а то увидят...

— Я еще с ума не сошел,— ответил Лаптев, хотя ему более всего на свете сейчас хотелось заменить сына, который может сделать не так, сказать не то.

С тяжким сердцем Лаптев отстал от Алешки, совсем медленно, будто по инерции, прошел несколько шагов. Поглядел, как мелькнула в дверях фигура сына и исчезла. Отойдя в сторону, Лаптев встал возле самого забора и с какой-то тоскливой обреченностью глядел на черный прямоугольник окна директорского кабинета.

В школьном дворе было темно. Два фонаря тускло светили да голая лампочка над дверью входа, да размытые квадраты оконного света грязно желтели на земле. Сзади, за забором, лежал сквер. Деревьев сейчас, ночью, конечно, не было видно. Лишь тягуче гудели под ветром вершины, да постукивали ветки, да иногда доносился болезненный скрип старого дерева; и сыростью наносило, и так же, как днем, тянуло горечью мокрой тополевой коры.

Все это: и гул, и скрип, и горечь корья — Лаптев ощутил лишь в тот миг, когда подошел к забору. Но уже в следующее мгновение, опершись спиной о ребристый штакетник, Лаптев глядел и глядел на директорское окно, стараясь не пропустить того мига, когда воровато скользнет полоска света в приотворенную дверь и снова пропадет.

«Только бы звонка не было, успели бы до перемены,— подумал Лаптев, и в ту же минуту приглушенно, но слышимо в школе затрещал звонок.— Теперь придется ждать»,— подосадовал он и прикрыл уставшие глаза.

Перемена вечерней школы была нешумной. Трое лишь вышли на крыльцо покурить. Лаптеву тоже курить захотелось. И взгляд его упал на светлое окно директорского кабинета. Вначале Лаптев подумал, что он ошибся. При-

гляделся внимательнее — ошибки не было. Светилось первое окно справа от входной двери. Лаптев непроизвольно качнулся и шагнул. «Что-то случилось,— подумал он.— Алешка попался... Пацан». Но тут же он остудил себя: «Может, просто директриса преподает у вечерников и теперь пришла на перемену».

Но он все же шел к школе. К ступеням крыльца, к желтому свету окна, которое завораживало его, точно ночную бабочку.

Свет потух, когда он был рядом с крыльцом. Через минуту Алешка выбежал из двери и, не заметив отца, помчался через двор. Лаптев поспешил за ним и позвал его свистящим шепотом:

— Алешка-а...

Сын остановился и, не дождавшись, пока отец подойдет, сказал издали, тоже вроде шепотом, но таким, что его на всю округу слышно было.

— Порядок... Все в порядке...

Они пошли той же дорогой, мимо аптеки.

— Почему у директора свет горел? — спросил Лаптев. — Она здесь?

— Нет,— ответил Алешка.— Это Валерка зажигал.

— Дур-рак! — с досадой произнес Лаптев.— Соображения, что ли, нет? Лезут в кабинет директора, как домой. Свет зажигают. Кто-нибудь увидит и скажет, лазили, мол. Что тогда?

— Па-апа,— проговорил удивленный Алешка.— Да ты чего? У Валерки свой ключ. Она ему дала. Он там магнитофоны ставит и другую аппаратуру, чтоб не сперли, в железный ящик. Валерка свободно в кабинет заходит.

Лаптев вздохнул с облегчением, расслабился, замедлил шаг.

— А я уже подумал черт-те чего,— признался он. А подходя к автобусной остановке, предупредил сына: — Матери молчок. Гуляли. Головы у нас заболели, вот и поветривались.

Но матери врать не пришлось. Она встретила их на пороге и сказала:

— Алешка, я сейчас в магазине слыхала, Машину маму увезли в больницу. Ей плохо. Наверное, тебе к Маше надо сходить.

Алешка молча повернулся, но мать остановила его: «Подожди» — и сунула в руки флакончик, сказав:

— Пусть Маша выпьет и брат ее тоже. По столовой ложке. Худа не будет.

Сын убежал, а Лаптев спросил у жены:

— Пустырник, что ли, дала?

— Конечно. Думаешь, девочке легко? Пусть успокоится. Худа не будет.

Лаптев усмехнулся. Жена и свою семью, и всех знакомых настойкой пустырника потчевала. И всегда со словами: «Худа не будет».

— А что случилось-то? — спросил он жену.

— Откуда я знаю? За котлетами в магазине стояли, женщина подошла, рассказывает, она с Балашовой в одном доме живет. Говорит, «скорая» приехала — и забрали. Вроде сердечный приступ... А там кто ее знает. Ей не докладывали. Чего ты стоишь? Раздевайся.

— Да,— согласился Лаптев и, снимая пальто, спросил: — Она сердечница, что ли?

— Не знаю, она не моя. Да господи, сейчас все сердечники.

Жена пошла на кухню. Там у нее котлеты жарились. А Лаптев переоделся, телевизор включил.

— Семен! — окликнула его с кухни жена.— Семен! Иди сюда.

Лаптев пришел на кухню, сел у стола, вслух подумал:

— Чего бы поесть? Котлеты — это хорошо, да тяжело на ночь и брюхо растет,— горестно вздохнул он.

— Ты чего же молчишь? — повернулась от плиты жена.— Ничего не рассказываешь? Почему я от чужих людей все должна узнавать?

— Чего тебе рассказывать?

— Как чего, все,— уклончиво ответила жена.— Чем занимаешься, что делаешь?

Лаптев удивленно брови поднял и губы поджал.

— Да, да, да... Нечего брови-то топырить... Чего ты так дурью маешься? Людей смешишь. Тоже мне нашелся туз козырный.

Лаптев начинал понимать, в чем дело, но виду не показывал.

— Ты чего плетешь от села, от города? — спросил он.— Толком говори.

— Не притворяйся,— осадила его жена.— Знаешь, про что я речь веду, про Балашову. Я, Семен, тоже ее жалею,

тоже сердце есть. Без мужика осталась, с двумя детьми, несладко, конечно...

— А чего ж ты тогда... встаешь?

— То, что бабочка замазалась. Тут уже никуда не денешься. Сама влезла, сама и расхлебывай. Тебе туда соваться нечего.

— Да-а,— покачал головой Лаптев.— Ты и вправду все знаешь. Откуда?

— У нас, Сема, не редакция,— усмехнулась жена и, подойдя к столу, уселась против мужа.— Нам не надо телефоны обрывать. И так все новости соберутся. Все знаем и про всех. Потому я тебе и говорю: брось дурью маяться. Балашову не зря уволили, и нечего неприятности себе и нам наживать. Алешка — ребенок, ничего в жизни не понимает. А тебе надо бы поумней быть. Алешку пожурят, тем и кончится. А тебе может хуже быть.

— Ясно,— сказал Лаптев.— Учтем.

— Вот и хорошо,— улыбнулась жена.— Ты, Сема, добрый, это я знаю. Но лопухом тоже не надо быть. Мало ли чего тебе в уши пональют? Тебя обмануть-то в два счета,— поднялась жена и к плите шагнула.

У Лаптева миролюбие кончилось, и он сказал:

— Так... Давай выкладывай, чего тебе про Балашову известно. Какие такие грехи ты у нее нашла? Что-то я про них раньше не слыхал. Давай выкладывай.

— И выложу, чего мне бояться,— в тон ему ответила жена.— Проворовалась твоя Балашова, и тут уж никуда не денешься,— сурово сказала она.

— Как проворовалась?

— А так, документы подделывала, счета. Ученикам одежду покупала. Пальто берет за пятьдесят рублей, пишет восемьдесят. Тридцать рублей в карман.

— Ты ее за руку поймала? Когда она тридцать рублей прятала? — перебил Лаптев.

— Не примудряйся...

— Я не примудряюсь. А вот ты сплетни собираешь. Это точно. Ничего ты не знаешь, а плетешь. И никто пока толком не знает. А вот я узнаю точно, и тогда все будет ясно.

— А кто ты такой? Ты кто — следователь? Прокурор? Чего ты ее защищаешь? Что, повиляла перед тобой и ты растаял? Бес в ребро, да? А то я не понимаю. Перед людьми стыдно.

Лаптев поглядел на жену укоризненно, головой покачал, спросил:

— А передо мной не стыдно? Дожились... Не стыдно такое говорить? Или свой, перетерпит, да?

Жена, кажется, поняла эту горечь и обиду в голосе Лаптева. Она выключила плиту, села за стол, сказала уже спокойнее:

— Все так говорят. Прямо в глаза.

— Ты прежде не людям, а себе верь. Что же выходит, люди меня лучше знают, чем ты? Дожились, слава богу.

Жена молчала, и Лаптев продолжал:

— Да я ее в глаза не видел, эту Балашову. Понимаешь?

— Как не видел? Здравствуй.

— Вот и до свидания. Может, и видел когда. В школе или где. А вот не помню, хоть убей. Вспоминал, вспоминал, не помню. Какая она из себя?

— Так как же... Она что, тебе не жаловалась? Не приходила к тебе? Откуда же ты узнал?

— К тебе-то она тоже не приходила. А ты знаешь. Вот и я...

Жена поверила.

— Ты ешь, ешь, пока горячие... Я тоже съем...

Нарезала хлеб, зеленый горошек достала, банку с помидорами.

А Лаптев следил за ней взглядом.

— Ты чего не ешь? — спросила жена.

— Неохота. Так слушай, видел я когда Балашову или нет? Какая она из себя?

— Да, конечно, видел.

— А чего же я ее не помню?

— Склероз... — усмехнулась жена и добавила: — Маша в нее, только ростом повыше. Она, по-моему, башкирка. Симпатичная. Да ты видел ее, просто внимания не обращал. И ты, Семен, не злись. У меня о тебе душа болит. Мне уж все доложили. Твоего редактора жену я видела, она меня напугала. Ты доиграешься, что тебя могут с работы снять и по партийной линии тебе влетит. Она мне прямо так и сказала. Она баба неплохая. Мы с ней всегда хорошо разговариваем. Она-то, правда, другое говорила, мол, гляди, Балашова опутала, окрутила, вот он с ума и сошел. Ну, черт с ней, пусть так думает, — махнула жена

рукой.— Но мне-то ты скажи. Я должна знать, чего ты на рожон лезешь? Чего хочешь кому доказать? Ты что, первый день на свете живешь?

— На рожон я не лезу,— спокойно объяснил Лаптев.— А разобраться с этим делом должен. Я все выясню: виновата, не виновата, а потом уже пусть решают. Мне надо правду узнать, больше ничего не надо. А то льют, льют: и воровка, и чуть ли не проститутка. Чего же они раньше молчали, при муже-то? А теперь некому заступиться, давай топтать...

— При муже, может, ничего не было. А потом прищемило, деньжонок не стало хватать, вот и клюнула. И я тебе скажу, про мужиков тоже, наверное, не зря грешат. Из их дома бабы говорили, и называли даже, кто ходил, по фамилиям. Люди все видят.

— Люди... люди...— снова начал раздражаться Лаптев, но сдержал себя.— В общем, на колу мочало, начинай сначала. Я тебе все объяснил, и ты ко мне больше не приставай, без тебя тошно.

— Ах, тебе тошно,— передразнила жена.— А мне не тошно?! — обозлилась она.— Мне будет не тошно, если тебя таскать начнут, грязью поливать! Нас всех! Ты об этом подумал?! Или тебе Балашова дороже?!

— Ну что и кто мне может сделать? Подумай ты, взрослый человек... Ну что, меня посадят? Убьют, что ли? Из дома нас выгонят?

— С работы тебя выгонят.

— Никто меня не выгонит, пока я сам не уйду.

— Вот-вот! Доведут, что сам уйдешь! А куда потом деваться? Десять лет еще до пенсии. А специальности нет. Да черт с ней, в конце концов, с работой. Ты о здоровье подумай. У тебя нога, у тебя контузия, у тебя давление.

— Так что же,— поднялся Лаптев,— если у меня давление и контузия, так мне, может, в зыбку лечь, а ты меня баюкать будешь и мух отгонять? Так теперь жить? Нет, ты перестань,— постучал он пальцем по столу.— Ты прекрати этот разговор, не надо. Ты знаешь, что я не упрямый баран, Но уж если нужно, то никуда не денешься... Давай не будем ругаться.

— Ладно,— зло проговорила жена.— Но гляди, попомни мои слова. Когда за тебя возьмутся, тебя начнут шерстить — никто пальцем не шевельнет, ни одна душа не

заступится. Все промолчат. На людей не надейся, вот помни.

Она пошла из кухни, резанув Лаптева злым взглядом, лицо ее, худое, скуластое, еще более осунулось. Под глазами и на впалых щеках потемнело.

— Молодец, договорилась...— бросил ей вслед Лаптев.— А на кого же надеяться?.. Да меня живого десять раз бы не было,— проговорил он в сердцах,— если бы добрые люди не спасли.

Из глубины комнаты, через коридор, жена ответила ему:

— А-а-а... Ты все про войну... Когда это было? Да это и совсем другое. Нечего вспоминать.

— Нет, я буду. Я всегда буду помнить,— тихо и горестно сказал Лаптев.

И, прикрыв от греха кухонную дверь, отгородившись ею, он достал сигареты, пристроился возле форточки и закурил. Обидно ему стало. Обидно и больно, прямо до слез. Последние слова жена зря сказала.

Уже позднее, в госпитале, Лаптев подсчитал, что всего на фронте он пробыл шестьдесят три дня. Чистых шестьдесят три дня во взводе. Все эти дни, может быть исключая несколько первых, ходили один на другой с их обычными военными делами и заботами. Для долгих раздумий тогда времени не было, шла война. И наверное, поэтому шестьдесят два дня и ранее и сейчас виделись Лаптеву ровной чередой, и был почти бессилён ум выхватить из той ленты какой-то день, час или минуту и разглядеть ее.

Но день шестьдесят третий стоял наособицу. Лаптев помнил его и много думал о нем. И в том не было странного, ведь это был последний день на войне, и не единожды в этот день смерть уже заслоняла своим рукавом белый свет.

На прорыв должны были идти рано утром. Артподготовка началась вовремя и длилась положенное время, восемьдесят минут. За пять минут до зеленой ракеты Лаптев полез наверх. Поутихло, огонь перенесли дальше. В траншеях люди начали шевелиться.

А весна стояла, апрель, утро. Хорошо было на воле, легко после блиндажа дышалось, свежо, словно после грозы.

Все шло как положено. По зеленой ракете Лаптев повел людей. Из траншей — в свои проходы. Потом рассыпались цепью. Соседние роты тоже поднялись. И вперед, вперед... Лаптев тогда молодой был, сильный. А в атаку идти сила нужна. Упал, снова поднялся, пробежал — опять упал. А как упал — тут на тебе пуд грязи. Весна ведь, апрель, на добрых пару четвертей вязкая, густая грязь стояла.

Из траншеи немцев выбили. Деревушка стояла неподалеку, ее заняли. А тут связной от командира роты подоспел: идти вперед.

Вперед — значит, вперед. Немцев вроде не было. Но сразу за деревней наткнулись на таблички: «Мінен». Может, немцы и брехали, а может, и правда минные поля, не отгадаешь. Пришлось брать правее. И вот тут-то Лаптев и попался. Он не заметил траншеи и вышел с людьми под фланкирующий пулеметный огонь. Он не помнил, как очутился в воронке. Знал только, что его понизу, по ногам куда-то хлестануло. Но очнулся он сразу. Воронка была мелкой. И Лаптев видел, как уходили немцы, уже вдали была их цепь. А пулеметчик последним убегал. Лаптев сгоряча в него из пистолета начал стрелять. Да что пистолетом сделаешь.

А когда горячка прошла, Лаптев почувствовал, что о себе надо подумать, а уж пулеметчик-то...

Правая нога, видно, совсем перебита, с костью. Она вывернулась как-то неестественно, в сторону. Лаптев ее подтянул, выпрямил, правильно уложил. Потом штаны снял. Обеим ногам досталось. И кровяща лилась, прямо фонтаном.

У Лаптева лишь один пакет с собой был. А как же одним управиться?..

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... — слышалось впереди. Это связной Лаптева, Заяц, успел-таки добежать до траншеи и теперь оттуда голос подавал.

— Сюда! — крикнул Лаптев. — Ранило меня!

Немцы уйти-то ушли, но в покое это место, видно пристрелянное, не оставили. Били и били по нему из минометов.

А связной Заяц был молоденьким парнишкой, двадцать седьмого года, из Белоруссии, Западной. Семнадцать лет. Как Алешка почти. Да разве с Алешкой можно сравнить!

Алешка вон какой вымахал. А Заяц невидный был, ще-душный. Пацан пацаном.

И с этим пацаном Лаптев оказался вдвоем. А свои что-то не подходили.

Заяц приполз к Лаптеву в воронку, обомлел, увидев изрешеченные ноги командира.

— Пакеты есть?

Заяц отдал. У него тоже один был.

— Мало,— подосадовал Лаптев и начал просто дырки затыкать.

— Сейчас, я сейчас,— сказал Заяц и полез из воронки.

Если бы не этот парнишка, Лаптев бы, конечно, не выбрался. Уже белый день стоял, и минометы все время били. А Заяц пять пакетов принес, у мертвых набрал, потом где-то доску выискал, для шины. Правая-то нога совсем была перебита. И потянул Лаптева. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Хоть и был Лаптев не могучего сложения, но Заяц утянуть его не смог. Он очень хотел, но не мог. Ему, конечно, было страшно идти назад одному, сначала к деревне, а потом далее, искать своих. И возвращаться назад. И снова, теперь уж с Лаптевым на носилках, свершить тот же путь. Но он все сделал, как надо, хотя десять раз... Да что зря говорить! Он все сделал как надо — связной Заяц, мальчишка с двадцать седьмого года, солдат без году неделя, его с пополнением прислали, за два дня до прорыва. Это был его первый бой.

В санбат Лаптева вез какой-то до ушей заросший диким волосом дядька, на русском не говоривший. Рядом, ноги в ноги, на повозке лежал калмык или казах, раненный в живот. Санбат отстал, и пробирались к нему с трудом. Грязь стояла отчаянная. Съехать с шоссе значило застрять. И потому забита была дорога. Тянулись и тянулись люди и техника. Не езда получалась, а короткие рывки от пробки до пробки.

Лаптева не перевязывали. Как сам позаткнул дырки да подмотался с помощью Заяца, так и повезли. И в дороге Лаптев почувствовал себя плохо. Кажется, пошла снова кровь, и нижняя часть тела начала постепенно неметь. Лаптев стал впадать в забытие, на короткое время приходил в себя и опять забывался. Солнце уже склонилось к закату, когда очнувшись, Лаптев увидел, что сосед его по повозке мертв. Синие руки все так же покоились на животе, оберегая боль, которой уже не было. Глаза полужакрыты.

— Земляк, земляк... — окликнул Лаптев и, поняв окончательно, что рядом с ним мертвый человек, испугался. Он внезапно осознал, что и сам не доедет, не доживет до санбата. Голова туманилась, тянуло в сон, и не было уже боли.

Приподнявшись, Лаптев увидел невдалеке офицера-регулирующего и, толкнув возницу, показал рукой: иди позови. Возница послушался, и офицер, кажется капитан, подошел к повозке.

— Не доеду я, — просяще проговорил Лаптев, глядя в склоненное к нему лицо, — земляк вон помер, — кивнул он на умершего казаха. — Я тоже не доеду.

Капитан все сделал. Он куда-то ушел, а потом сам отвез Лаптева в санбат, вроде артиллеристов. Договорился там, все устроил. Лаптев еще помнил, как его заносили в приемную. Больше Лаптев ничего не помнил.

Позднее, в долгое госпитальное время, в разговорах с такими же бедолагами, как он, или в мыслях Лаптев не однажды возвращался к этому дню, последнему для него на войне. По-разному говорилось и думалось. Вороша старое, Лаптев среди других и Зайца поминал, но никогда в те годы не приходило в голову считать Зайца каким-то особенным человеком, спасителем. И не душевная глухота была виной. Просто Лаптев и его товарищи считали такие дела обыденными и естественными. Как оно и было на самом деле. Ведь, поменяй их судьба местами, Лаптев то же бы сделал для Зайца.

А вот теперь, через много лет, Лаптев с тоскою думал, что по нынешним меркам даже тот офицер-регулирующий, капитан кажется, даже он чуть не подвиг совершил, спасая от смерти Лаптева. Ведь это вовсе не его забота — о Лаптеве беспокоиться. Он для другого поставлен. А он все бросил и начал Лаптева устраивать.

От таких рассуждений Лаптеву становилось тошно. Но еще тошнее было то, что, положив руку на сердце, сам Лаптев жил теперь, и давно, по тому странному правилу, в котором нет места простому человеческому братству, а все определяет должность, за которую ты получаешь деньги. Это правило гласит: врач должен лечить людей, шофер — управлять автомобилем, милиционер — защищать людей от хулиганов и воров, токарь — работать на своем станке. И не более. Каждый делает свое дело, «он за это зарплату получает» — вот правило.

И на жену валить — пустое. Сам Лаптев не лучше. Ведь если бы не сын, не Алешка, не дурные его кулаки, если бы не боязнь за родную кровь, Лаптев на другой день бы о Балашовой забыл. И причин нашлось бы целый ворох: тут и болезни, и покой, и дела — в общем, чужой хомут шею не трет.

Хорошая зарплата, работа спокойная, тихое житье — все это, понятно, нужно, по-человечески.

Но боже... Разве не на той же грешной земле и не вчера ли такие же смертные люди мерили свои дела только высшей и единственной мерой — правдой совести? А иной не ведали. А ведь та же земля их родила, что и нынешних, слепила из той же плоти и крови, обычную людскую душу вдохнула, отмерила тот же срок под солнцем, а павших до срока, даже самых праведных, поднять не обещала.

Заскрипела отворяемая дверь, и на кухню заглянула жена:

— Чего заперся? Дуешься сидишь? — спросила она с усмешкой. — Лучше бы двери смазал. Скрипят, аж по коже дерет.

— Это можно, — сказал Лаптев и пошел за масленкой.

Весь его ходовой инструмент под ванной размещался. Быстренько приподнял он дверь в навесах, подстелил газетку, чтобы пол не замазать, маслица капнул в один навес и другой. В минуту все обделал, пооткрывал дверь, проверяя. Скрипа не было. Заодно и по другим дверям прошелся, и хоть они не скрипели, но смазал их на будущее. А уж тогда инструмент на место отнес и на кухню вернулся.

— Мужик у меня просто золотой, — похвалила жена. — Огнем все в руках горит.

Лаптев на эту похвалу вздохнул, усмехнулся.

— Чего ты, как телок, вздыхаешь? Обидела жена...

Она плотней запахнула халат — из форточки потягивало, — зябко закуталась, сжалась, и невидная часть ее еще более обрезалась: узкие худые плечи жалкими крылышками торчали. И лицо было усталым.

— Я тебя не хочу обижать, — говорила жена. — Но ты сам должен подумать о нас. Ведь в кои веки зажили по-хорошему. Что мы доброго на веку-то видали? До войны досыта не ели и после не лучше. Потом детей тянули да

своим помогали. А с каких шишов?.. Так... вспоминать тошно. А сейчас чего надо? Сыты, одеты, в тепле. В магазин зайду, если чего есть, беру, копейки не прикидываю. Даже не верится. Жить да жить...

Жена еще говорила долго. Говорила, уговаривала...

Возражать ей Лаптев не стал. Не было нужды объяснять да доказывать. Жена вовсе не глупая была и не злая. Просто несладкая жизнь позади лежала, и хотелось теперь отдохнуть. Лаптев понимал это. Он всегда жену понимал, как и она его. Они ладно жили, на зависть многим, дружно и мирно, меж собой открыто. Хорошо жили. В большом мире происходило всякое: далекие войны, служебные невзгоды, радости, тревоги и заботы — все было, текла жизнь, менялась; но всегда оставался неизменным для Лаптева его малый мир — его семья. Как сложилась она когда-то уютным родным гнездом, так и оставалась пожизненно нерушимой. Шло время. Малые ребятки, теплые птенцы желторотые, стали большими, ладонью уже не прикроешь. Лаптев с женой постарели, да еще как, господи... Из полсотни годочков ни один мимо не прошел, всякий метил. Да, время шло, время под гору уже ходом катилось. Но Лаптеву грех было жаловаться, грех. Все так же прочен был родной его дом, его гнездо. И как прежде, самые ласковые и милые сердцу часы жизни его протекали здесь, в семье. И не было для него в мире угла желаннее, не было рук теплее, чем эти, единственные, первые и последние, дарованные богом на всю его жизнь, до смерти.

Потому он слушал жену, слушал, не возражал. Понимал он ее и ничем не корил.

Алешка пришел, когда мать уже спала. Устала, расстроилась и заснула... А Лаптев, хоть и прилег, ждал сына и сразу же пошел к нему в комнату.

— Маша — дура... Сообразила тоже... — выпалил Алешка вошедшему отцу.

— Почему? Что? — не понял Лаптев.

— Я тетрадку-то ей показывал. Она прочитала. А потом возьми да и спроси у Лидии Викторовны: как, мол, получилось, что пальто — там в тетрадке про пальто есть, — почему оно дороже оказалось. Лидия Викторовна говорит: не знаю. А Маша ей: как, мол, так, ты же покупала. И еще ей что-то лягнула, ревет, не говорит что, ну, в общем, та расстроилась... Еще бы, собственная доченька...

Ну, и приступ у нее, увезли. А Маша с Колькой ревут и ревут.

Он уселся на кровать, обхватил руками свою кудрявую, русую голову и на отца глядел.

— Ты дурак, а не Маша,— сообщил Лаптев сыну.— Надо все же соображать, не маленький.

— Как лучше хотелось,— сказал Алешка.— Я уж, знаешь, пап, я уж подумал, может, зря все это... Хочешь вроде лучше, а получается наыворот. С тетрадкой с этой... Может, все забылось бы потихоньку, а тут ворошить приходится...— Он посмотрел на отца вопрошающе.

— Нет уж, брат,— ответил Лаптев.— Давай до конца. Пока мы еще ничем не помогли. Лишь в больницу загнали.

— Да-а...— Алешка яростно вскудлатил пятерней свои волосы.— Знать бы... Черт. Знать бы точно! Папа, а ты точно уверен,— тихо вдруг спросил он,— ты точно уверен, что она не виновата? Там эти бумажки, в тетрадке, мне не нравятся. Неужели она... Нет, нет! — решительно затряс он головой.— Лидия Викторовна никогда бы ни сделала. А Маша — дура,— убежденно и с облегчением сказал он.

— Дура, дура... А ты — умный...— засмеялся Лаптев.— Давай ешь иди. Там котлеты. И еще, знаешь, с матерью полегче. Если чего будет говорить, то лучше перемолчи. Не надо ругаться. Мы все же мужики, а они, видишь, какой народ. Слезы — да в больницу. Так что давай мать-то побережем.

— Ладно,— согласился Алешка.— Да я вроде и так...

— Я просто предупредил, на всякий случай.

Алешка пошел ужинать, а Лаптев к себе. Телевизор, потрескивая, светил синеватым огнем, молчаком фильм какой-то показывал. Лаптев сел и глядел, ничего толком не понимая. Звук он не включал, жену не хотел тревожить. А спать не ложился, знал, что не заснет. Лучше уж так посидеть — все развлечение, а вернее — голове отдых. Сиди да гляди, как они рты раскрывают. Все думать не надо. Гляди да гляди.

5

Снимки получились удачными. Напечатал их Лаптев в размер записной книжки, обложку из картона сделал. И теперь лежал перед ним небольшой блокнот, ни дать ни

взять та же розовая тетрадка из директорского стола, только размером поменьше. Лаптев начал читать все по порядку.

Директору школы тов. Матуриной Елизавете Трофимовне от родительницы ученика 7-го класса Миши Бусько, Бусько Анны Ивановны, проживающей по Партизанскому переулку, № 23.

З а я в л е н и е

Прошу Вас, как директора школы, разобраться и дать ответ. Я, Бусько Анна Ивановна, хоть и записанная по документам как жена, но если по-хорошему разобраться, то лучше десять раз без мужа родить, чем с таким пьяницей-алкоголиком. Муж мой, Бусько Андрей Семенович, какой уже год шалается по белому свету и никакой помощи мне не производит. Милиция за ним гоняла-гоняла, чтобы алименты он хоть какие платил, хоть копейку какую несчастную — и то помощь. Но с него, паразита, много не напрядешь. Так и не прищемили ему хвост. Сейчас все плюнули и отвернулись. А я жилы тяну, чтобы детей кормить, одевать и воспитывать. Сама я работаю на хлебозаводе, имею одни благодарности и доску передовиков. Спасибо нашему советскому государству и вам, как директору школы, что меня не кидаете в моей беде, а чем можете помогаете. Чтоб мои дети раздетые-разутые не ходили, а были не хуже других. Но не все такие люди добрые на белом свете. Находятся и другие, которые не брезгают последнюю сиротскую копейку утянуть. Я пишу это заявление на нахальную воровку Балашову, которая пристроилась у вас, в доверие влезла, а сама кровь сиротскую сосет, отымает последнюю копеечку. Наше советское справедливое государство и вы, как директор школы, вошли в мое положение и выделили деньги, чтобы моего сына Мишу одеть и обуть. Я бухгалтерше Балашовой сразу сказала, пусть отдаст эти деньги мне, и я куплю по своему материнскому разумению, чего мне необходимо. У меня знакомые есть в магазинах, достанут получше вещь. Но ей, нахальной воровке, в рот не введешь. Она же грамотная, научилась разговаривать, а мы умеем ударно работать, а перебрехать никого не можем. Так оно и вы-

шло, как я раньше догадывалась, обдурила бухгалтерша и глазом не моргнула. Подсунула какие-то гуни, а деньги вроде за них заплачены хорошие. Спасибо, люди надумили, подсказали, открыли мне глаза. О чем вам подано заявление со справкой, которую вы сами читаете. Чтобы нахальная воровка Балашова сиротские деньги до копейки вернула. А то обожжется. Я по-ударному тружусь на хлебозаводе, но могу и куда повыше написать. Дойду до большого начальства, а детей своих не позволю обсчитывать и измываться над ними.

К с е м у Б у с ь к о А н н а И в а н о в н а.

С п р а в к а

Зимнее пальто мальчиковое Армавирской фабрики размер сорок четвертый рост второй стоит сорок два рубля шестьдесят копеек. В чем можете и убедиться в нашем магазине.

Заведующая отделом магазина № 3 Малкова М. Н.

С ч е т

магазина № 4 смешанного торго

Наименование товара: пальто мальчиковое 44 размер рост 2-й. Количество — одно. Цена шестьдесят шесть рублей двенадцать копеек. Итого — шестьдесят шесть рублей двенадцать копеек.

Директору школы тов. Матуриной Е. Т. от Демкиной Н. Ф., проживающей по переулку Партизанскому, дом № 14.

З а я в л е н и е

Прошу Вас разобраться с моим делом. За счет школы моему сыну Николаю Демкину, ученику седьмого класса, купили костюмчик и ботинки. Я, конечно, благодарная, но люди подсказали, и я сама вижу, здесь неправильно. Написано ботинки стоят шестнадцать рублей, а они из плохой кожи, свинья вроде и подошва резиновая. Таких денег они

не стоят. Про костюмчик тоже. Вроде заплачено много, сорок пять рублей, а глядеть не на что. А постирается раз и вообще сядет, не натянешь. Я очень сомневаюсь, не произошло ли какого обмана. Покупала все в магазине Балашова, бухгалтер школьный. Мне вручила, в чем я и расписалась. Прошу разобраться, не отказать в моей просьбе.

Демкина Надежда Федоровна.

Директору средней школы № 2 Матуриной Е. Т. от
классного руководителя 9 «А» класса Мельниковой О. Т.

Д о к л а д н а я

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что преподаватель ручного труда Балашова Л. В. на уроках ведет с ученицами моего класса разговоры, недопустимые в стенах советской школы и позорящие звание советского учителя. Эти разговоры разлагают учеников и сводят на нет все наши усилия по морально-политическому воспитанию учащихся...

— Лаптев! — раздался по селектору дяди Шурин голос. — Товарищ Шерлок Холмс! Зайди-ка! Слышишь меня?

— Иду, — отозвался Лаптев, спрятав свой недочитанный блокнот в карман, и направился к редактору.

Дядя Шура пребывал в игривом расположении духа.

— Как дела, как успехи? — весело спросил он у вошедшего Лаптева. — Собаку еще не завел?

— Нет, — спокойно ответил Лаптев.

— Зря, — огорчился редактор. — По следу бы ходил. Ты заведи кутька. Тебе без него нельзя. Легче будет разыскивать. Мухтаром назови.

— Назову, — равнодушно пообещал Лаптев.

— А вообще интересно получается, — несколько потух и задумался дядя Шура. — Ты в сыщика превратился. Хочешь доказать, что ты пуп земли. Хотя это тебе не удаст-

ся,— предупредил он.— Но... тебе говорят, а ты свое. А вот от зарплаты, от зарплаты ты не отказываешься... Румкин наш дорогой Пушкина и Толстого громит, всех писателей с утра до ночи низвергает. Работать его колом не заставишь. Но в получку он первым у ведомости. Хотя, по правде, с него бы надо брать за то, что стул просиживает да нервы людям портит, дураками да неучами всех крестит... Вот так и живи,— опечалился редактор.— Но...— поднялся он из-за стола и пухлой ладонью по столешнице хлопнул.— Пора за вас братья, пора. Будем тебя на партсобрании слушать. Твой отчет. Из райкома обещали прийти, из управления сельского хозяйства. Вот так. Готовься. Ты меня понял?

— Понял,— отозвался Лаптев.— С этого бы и начинали. Все?

— Пока все.

На том и расстались. А у себя в комнате Лаптев посидел недолго, подумал. Особо размышлять не приходилось, все было ясно: начиналась расплата, наказание непослушного отрока. Во-первых, крепкая и очень крепкая вздрючка Лаптеву уже обеспечена, ясно, что не хвалить его собираются. А во-вторых, после этого отчета, когда каждый упрек, всякий промах его будет записан и всему итог подведен в виде: указать, потребовать, предупредить и прочее,— после этого Лаптева можно голыми руками брать и в любой день выставлять из редакции, прицепившись к какой-нибудь ошибке.

Но особо горевать Лаптев не собирался. Нечто подобное он предполагал, и паниковать сейчас означало просто-напросто сдаться.

С этой мыслью он и отправился по делам. Но, против его воли, думалось о предстоящем. С горечью думалось. И вместо того, чтобы напрямую идти в райисполком, Лаптев решил немного развеяться, прогуляться. Хотя погода стояла вовсе не для прогулок, декабрь. Снег, что выпал неделю назад, сошел. А серая овчина неба нового не обещала. Сыпало моросью, надоедливой, скучной, а верховой жесткий ветер примораживал землю, разводил несусветную склизь. Люди без дела из домов не выходили, и потому пустынно было в поселке.

Погруженный в свои невеселые раздумья, Лаптев не сразу расслышал окликающий его голос. А расслышав, обернулся и обрадовался. Следом шли его недавние зна-

комые, учительницы, мать и дочь. Очень вовремя встретились эти люди.

— Молодежь меня под уздцы взяла,— смеясь, говорила подхопившая учительница-мать.— А то я, того и гляди, растянусь, коняка старая.

Она шла посредине между дочерью и еще одной женщиной, тоже молодой. Но гляделась она, даже рядом с ними, вовсе не старой конякой. Холодная морось свежила лицо, и смуглые щеки молодил румянец.

— Куда это вы, Семен Алексеевич, бегом да согнувшись?

— По делам да по делам, а тут еще погода собачья,— пожаловался Лаптев, бросая неприязненный взгляд на небо.

— Ну, уж скажете тоже,— возразила учительница.— Прекрасная погода. Декабрь, а еще хорошо.

— Чего хорошего,— сказал Лаптев.— Озимые-то пропадут.

— Виновата, виновата,— тотчас согласилась учительница.— Мы, грешным делом, забываем всегда про хлеб. Абы нос не мерз, и ладно... Познакомьтесь, Семен Алексеевич, это наш местком, Зоя Михайловна, моя бывшая ученица. Я вам про нее говорила. Она вам может помочь, кое-что рассказать.

Молодая женщина приветливо улыбалась, но последние слова согнали улыбку с ее лица.

— О чем рассказать? — быстро спросила она.— Опять Балашова?

— Что случилось, Зоя? — удивилась старая учительница.— Разве это надо скрывать?

— Но и не... говорить об этом на каждом перекрестке... Надоело!

— Так это же Семен Алексеевич, он хочет помочь...

— Не буду я ничего рассказывать,— бесстрастно проговорила женщина и замолчала; тонкие морщины протянулись из углов плотно сжатых губ.

— Как же...— недоуменно проговорила старая учительница.— Что ж получается?

— Зоя, это просто нехорошо,— поддержала ее дочь.— Нечестно...

— А-ах, нечестно.— Женщина отступила в сторону.— Вам хорошо о честности рассуждать. Вам полгода оста-

лось — и на пенсию, и вы человек свободный. Ты замуж выходишь и за тыщу верст улетишь отсюда. Конечно, на все наплевать. А мне здесь надолго надо рассчитывать, на всю жизнь. И я не хочу, не буду ввязываться, оставьте меня, я хочу спокойно работать. Кто, в конце концов, такая Балашова? Почему я должна из-за нее жизнь себе портить? Почему?!

— Дело не в Балашовой, Зочка,— спокойно сказала старая учительница.— Дело в тебе. Если завтра со мной такое случится, ты так же скажешь, а кто я такая? Скажешь ведь?!

— Ну, это уже демагогия, я и разговаривать больше не желаю.— Она повернулась и быстро пошла прочь.

Старая учительница сняла очки, поискав, вынула из сумки платок и, наклоня голову, принялась протирать стекла. И как-то сразу изменилось ее лицо, будто обрюзгло, постарело. И, теперь уже глуховатым голосом, она принялась выговаривать дочери:

— Вот вы какие, молодые да ранние... Карьеристки...

— Здравствуй,— со вздохом ответила дочь.— Я-то при чем?

— А при том, что я гляжу...— вызывающе начала мать, но дочь ее перебила:

— Я гляжу, поругаться тебе до смерти хочется, а не с кем. Зойка убежала, так ты на меня кидаешься. Пошли в школу, там какого-нибудь обормота поймаешь — и ругай его, отводи душу.

— Ладно-ладно... Умная... Но все равно, Семен Алексеевич, скажите, как так можно... Нет, бесчувственная пошла молодежь, расчетливая, хитрая. На сто лет вперед прикинет. А на человека наплевать. Где? — вздымая руки, спросила она.— Где вот этот молодой петушиный романтизм, безоглядная честность молодости? Когда на все наплевать, на все беды и последствия? Лишь бы честности! И правда! Где это?! Вот у нас в молодости я видела это. Скажите, Семен Алексеевич, голодные в школе работали. За пачку махры или синьки вместо зарплаты. Да еще ликбез, самодеятельность, клуб. И справедливость, правда, честь! Вот что было главным!

— Мама, успокойся, не надо... Тебе будет плохо.

— Спокойные вы больно. Все о здоровье печетесь.

— Ничего,— сказал Лаптев.— Не расстраивайтесь. Не-

велика беда. Без этой Зои обойдемся. У меня сейчас кое-какие факты есть. Надо только разобраться. Вот сегодня хочу к ученикам вашим пойти, вернее, к родителям. Бусько и Демкин... Не знаете таких?

— Как же, это ее, Катины,— показала на дочь старая учительница.

— Мои друзья, мои хулиганы,— засмеялась Катя.— Если хотите, можем вместе пойти.

Лаптев, конечно же, обрадовался спутнице, и они сговорились встретиться вечером.

Как быстро зимой смеркается, как рано темнеет, особенно в малых селеньях Руси. В городах, в каменном и асфальтовом мире, всемогущее электричество — это новое негаснущее солнце — уже отучило людской глаз от синих сумерек, темных ночей, древнего огня звезд. Отучило, смешав вечное время работ и сна. А по весям, здесь пока, как отроду повелось, ночь — для покоя. Поглядят во тьму теплые огоньки домов и прикроют глаза задолго до полуночи. И теперь лишь какой-нибудь разъединный тусклый фонарь под ржавым колпаком, словно досужий свекор, всю долгую ночь будет беречь свою во тьме потонувшую округу. И только шалый собачий брех да урочный петушиный крик повестьят, что не мертвым сном, а живым спит земля.

Был еще ранний час, но Лаптев, конечно бы, заплутал, не нашел не то что дома нужного, но и переулка. Мудреный был переулочек: начинался он узенькой тропкой меж заборов, а потом вдруг раздавался шириной в добрую улицу, сворачивал рукавами вправо и влево — не ночами здесь бродить. Но Катя, спутница Лаптева, шла уверенно и, подойдя ко двору, воротца твердой рукой отперла, а потом постучала без робости в переносье светлого окна.

Им тотчас дверь отворили и встретили радостно. Даже излишне. Причину такой встречи Лаптев понял, когда вошел в дом. В кухне стол был накрыт не для простого ужина: среди тарелок с вареным да соленым бутылки стояли какого-то, видно самодельного, питья. Сидели за столом две женщины да краснолицый сверхсрочник в распоясанной гимнастерке.

Хозяйка, рослая полногрудая баба, суежилась, раздевая пришедших.



— Катерина Петровна, голубка моя,— припевала она,— не осуди и не побрезгуй моим хлебом-солью. Не прибиралась нынче, уж прости, только с работы.— Она мыкалась по кухне, одежду принимая, и мимоходом расталкивала по углам какие-то тряпки, посуду.— Счас мы в горницу перейдем, не будем тесниться. Мы-то свои собрались, по-соседски. А здесь такие гости в кои веки.

— Так уж и в кои? — спросила Катя.— И не беспокойтесь. Никаких горниц не надо. Мы тоже свои.

— Это правильно, по-нашему... Присаживайтесь и выпейте, дорогие гостечки, с морозцу, за именинницу. А потом уж ругайте!

— День рождения? — спросила Катя.— Поздравляю.

— Не рождение, а все же праздник мой. Нынче Анну празднуют, Анна зимняя. Начало зиме. Как раз по-старому девятого, а по-теперешнему нынче.

Из горницы хозяйка красного вина принесла со словами:

— И красненького припасла. Как в воду глядела.

— Ни красного, ни зеленого,— остановила ее Катя.

— Катерина Петровна...— обиженно прогудела хозяйка.

И военный гость ее поддержал:

— За именинницу положено, по уставу.

Лаптев приготовился к долгим отговорам, но Катя действовала решительно:

— Вы, Анна Ивановна, на работе выпиваете? — спросила она.

Хозяйка на мгновение остолбенела, затем принялась отмахиваться:

— Боже сохрани и избавь... Да кто вам такую глупость напел... Да никогда и грамма в рот не брала... Да чтобы я на работе...

— Ну вот,— спокойно сказала Катя.— Очень хорошо. А я ведь сейчас на работе и за это деньги получаю. Мне еще к другим людям идти.

— Служба есть служба,— строго проговорил сверхсрочник.

Хозяйка и гости ее, вздохнув облегченно, закивали головами, соглашаясь.

— Миша где?

— К соседям ушел. Катания глядеть. Наш телевизор сломался. Позвать его? Либо нашкодил?

— Не надо. Ничего он не натворил, не беспокойтесь. Мы по другому делу. Вот со мной товарищ из родительского комитета,— кивнула она в сторону Лаптева.— Мы по поводу заявления, которое вы подавали директору. Подавали?

— Не отказываюсь,— решительно отчеканила хозяйка.— Воровка она! Бессовестная! Нашла у кого красть! Чтобы ей эта денежка поперек горла встала! Под суд ее, гадину! Сиротскую копейку отымать! — Большие руки хозяйки сжались в кулаки. Могучие плечи и грудь ходуном заходили. Ох, несладко пришлось бы Балашовой, попади она в эти руки! Несладко...

— Анна Ивановна,— остановила ее Катя.— Не волнуйтесь. Никто вас не обидит и детей ваших тоже. Мишино пальто здесь? Вы можете его показать?

— Могу,— сказала женщина уже без прежнего огня. Она, видно, не разумела цель прихода.— Так ведь я справку отдала. Там все написано. Из магазина справка.

— Справка справкой, но мы сами должны посмотреть, убедиться.

— Вот оно... Миша в фуфайке побежал.— Хозяйка, откинув занавеску, сняла с вешалки пальто, встряхнула его.— Кого хотела обдурить... Этакую цену назначила. Да я б за такие деньги...

Лаптев поднялся, подошел ближе. Это было обычное, серого цвета пальто со светло-коричневым воротником. Довольно потрепанное.

Катя раздвинула полы пальто и, сунув руку в грудной карман, вывернула оттуда контрольный ярлык, белую матерчатую полоску, петелькой сшитую. Лаптев надел очки, переписал в записную книжку артикул.

— Вот и все,— сказала Катя.

Хозяйка пальто на место повесила, задумалась, не садясь, спросила:

— Она что, жалобу встречную подает? Воровка-то? Не нравится вроде, что выгнали, бессовестная...

— Где у людей совесть, господи. Это же надо, какая нахальная...— сочувственно завздыхали хозяйкины подруги.

— Разберемся...— ответила Катя и тут же разговор перевела на иное: — Проследите, чтобы Миша к зубному

врачу сходил. Медосмотр еще месяц назад был. Сказали ему, а он все то забыл, то не успел. С таких лет зубы портить, что же дальше будет? Проследите.

— Нынче же ему прикажу, чтобы со школы — и в больницу. А вам спасибо, что приглядываете.

— Ну, до свидания,— поднялась Катя.— Всего вам доброго, пойдем. А то ночь на дворе, а нам еще к людям идти.

— Да уж посидели бы, погостевали...— помогая одеться и провожая, выпевала хозяйка.— Возле порожков не споткнитесь. Детвора понатаскала всякого добра.

А на воле, после светлой-то комнаты, сделалось еще темней. Лаптев, боясь оступиться, шел неуверенно, ошупывая. Но Катя подхватила его под руку, сказала:

— Здесь недалеко.

Какая-то дворняга залилась, загремела цепью, кинулась к забору, придушенно захрипела в ошейнике.

— Сорвется еще,— опасливо отступая от забора, сказал Лаптев, а потом, подняв лицо к небу, загадал: — Снег сегодня будет. Должен быть. А вообще-то, считай, зима прошла.

— Как это? — удивилась Катя.— Еще не начиналась.

— Сегодня ночь-то самая длинная. Теперь день пойдет прибывать. Дело к весне потянется. Нынче и правда Анна зимняя. Должен снег упасть, пора. Да и на мокрую землю, хорошо. Совсем ляжет.

— Да-а,— недоверчиво протянула Катя.— У нас на Новый год всегда дождь. Даже обидно. Такой праздник, так снегу хочется. Здесь налево,— предупредила она.

Переулочек стал вовсе тесным, лишь одному и пройти. Но через минуту он снова расширился.

— Вот и пришли,— сказала Катя.

Калитку она открыла так же уверенно, а постучав в дверь, долго вытирала ноги. Шаркала и шаркала. Уж из раскрытых сеней звал их женский голос, а Катя все на крылечке возилась.

Наконец они поднялись и вошли в дом. Сухим знойным жаром обдало Лаптева, как только переступил он порог. Чистым легким жаром крепко натопленной печи.

Катя, как вошла, на сундук возле дверей присела, сапоги сняла. Лаптев тоже разулся. Хозяйка их пригласила в горницу.

— Хоть у бабы Моти погреться,— весело сказала Ка-

тя.— Везде дрова да уголь берегут. Целый день зубами щелкаешь.

— Жалкое мое дите,— посочувствовала баба Мотя.— Платок возьми, накинйся.

— У вас и без платка хорошо.

— Как же мне не топить? Годы свои я выжила, кровь не греет. Вот и топлю дуром.

Женщина была стара, но ходила еще прямо, не горбилась. Светлая кофта в горошек на ней была надета, темная юбка, на голове — кипенно-белый платок.

В доме чистота царила необыкновенная. Поблескивали крашенные стены и потолок. Простые тряпочные вязаные половики аккуратно стлались по желтому полу, разбегаясь от входа к столу и кроватям. Хрусткая, даже на взгляд, скатерть накрывала стол. Снежной синевой отдавали занавески и шторы, тюлевые накидки подушек. И какой-то пряный, чуть сладковатый дух стоял в доме. Знакомый Лаптеву дух, но подзабытый.

Усадив гостей, хозяйка у кухонного входа пристроилась, на широкой низенькой скамеечке.

— Где же ваши? — спросила Катя.

— Сейчас придут. Николай побег Надю к автобусу встренуть. Боится она в потемках ходить.

— Да-а...— удивляясь, сказал Лаптев.— У вас здесь какие-то переулки-закоулки. Заплутаешь. Как-то странно поселились. Уж улица бы так улица.

— И-и, милый человек, раньше, в старые-то годы, все было вот как ты говоришь: улица — значит, улица. Наше родствие спокон веку на этом самом месте. Земля у нас добрая, родимая, и каждый хозяин помногу земли держал. Базы, огороды, левада, сады... Тута-а... Немеряные усадьбы. Трудись да трудись. А потом другая песня пошла, это при новой власти. Зачали делить да делить, новые клетки нарезать. Тому кулижку, тому другую. Детей выделяли, чужим людям отдавали. Не по силам стало подымать, скотины-то нет, ни быков, ни лошадок. Вот и зачали новые тропки бить. Улочки да переулочки, абы подъезд был. Так оно все и получилось.

Баба Мотя взялась за работу, за пуховый платок, который она вязала. Платок разговору не мешал: не глядя, она спицами орудовала.

Тут застучали на крыльце и в сенях, говор слышался, смех.

— И чего взвеселились? — выглядывая на кухню, спросила баба Мотя.— Либо бесилы наелись? А тебе, парень, лупцовки не миновать, учителя вот пришли, жалуются на тебя.

— Правда? — спросил женский голос.

— Матеря не сучка, брехать не станет. Иди погляди.

Темноволосая женщина с пуховым платком на плечах вошла в горницу, поздоровалась.

— Чего же он натворил? И молчит. Никогда не скажет.— Темные глаза ее испуганно круглились.

— Да ничего не натворил,— сказала Катя.— Нечего на Колю наговаривать. Мы по другому делу.

— Фу-у, мама, ты меня прям с ума сбила,— облегченно вздохнула женщина.

Из-за дверной шторы показалась стриженная голова мальчика.

— Здравствуйте,— тихо проговорил он и исчез.

— Ты очунелась? — спросила у дочери мать.

— Очунелась, очунелась...— ответила та, смеясь.

— Ну тогда не смеись, а на грубке взвар, я поставила. Дай людям попить, обогреться, тоже только вошли.

— Не надо, не беспокойтесь,— попробовала отнекиваться Катя.

Но баба Мотя ее остановила:

— На своем базу командуй. А здесь я хозяйка. Вечерять вас не зову, може, не ужожу щами. А взвар добрый.

Дочь была ниже матери, но плотней. И на круглом лице вроде ничего особого не было, но все в меру и к месту: темные бровки, налитые щеки, в маленьких ушах — сережки, полная шея. И даже второй подбородок, легко намеченный, ее не портил. Какую-то спокойную домовитость придавал.

Подав гостям взвар, дочь тоже за стол присела, пожаловалась:

— День вроде и короткий, а устала.

— Милое мое дите,— ласково проговорила мать.— И где же ты так уморилась? На работу машина тебя довезла и с работы подобрала. Там ты цельный день на стульце сидела. И гляди-кась,— искала она сочувствия у Кати с Лаптевым,— не пахала, не боронила, а куда силу уронила... Чуда какая-то...

Лаптев медленно тянул из бокала наваристый, крепкий

взвар. Да, это был вовсе не компот, к которому привык он. Это был взвар. В нем настоялась густая грушевая сладость, чуть с горчиной, и пощипывала нёбо тонкая кислота лесных яблок, терпко вязал язык терн, и чуялся бодрящий, живительный вкус шиповника.

— А заставить тебя на поле поработать? Как раньше бывало? — спросила баба Мотя у дочери.

— Да так же и привыкла бы... — ответила та.

— Не дай, не приведи... А уж в войну... и поминать тошно. Либо правда бог помогал, не оставлял. И колхозную работу делаешь, и свою. В колхозе сейчас разве работа... Столько люду, машины. А мы до света уже в поле, и с поля уходишь при месяце. А ведь дома свое хозяйство, огороды, скотина, сады, детишки. Прибежишь домой и не присядешь. Нельзя присаживаться — не встанешь. Вроде наморишься, уже ни руки, ни ноги не владеют, а мыкаешься. И скотину приберешь, и ребятам наворишь, состирнешь чего. Тогда рысью на огород, об зиме думать надо. Трудодни не накормят. Хорошо, попадет месячная ночь, так хорошо. Копаешь, и поливаешь, и полешь, и картошку подбиваешь. Как-то поливала-поливала... Тремя ведрушками таскала, на коромыслях две да в руке третья. И вот присела так с коромыслями, снимать не схотела. Начала из ведрушки в лунку тихонечко лить. И вдруг ничего не помню. Все разом отшибло. Когда очунелась, перепугалась до смерти. Господи, думаю, где я? Чего со мной поделалось? В память входила, входила, еле вошла. Да это я на земле, в огороде лежу. Как упала с ведрушками, так в лужине и заснула. Вся мокрая да грязная. Выспалась, слава тебе господи, корову доить пора да на работу бежать. Выспалась.

Она замолчала, и никто слова не сказал. Лишь на кухне потихоньку что-то бубнил мальчик, видно уроки учил. А что было говорить... Что тут скажешь? У Лаптева мать почти до самой смерти вот так-то мыкалась. И в войну, и без войны доставалось. Здесь хоть земля добрей к людям. А дома... Мать у Лаптева всю жизнь в колхозе проработала. Трудодней-то полон кошель вырабатывала. Да какой от них прок? Хватило бы за заем да налоги расплатиться. А поставки? И мяско, и молочко или маслице сдавать надо. Хоть криком кричи, а отрывай от детишек. Или денежку готовь. А где ее взять?

Или, может, правда господь бог помогал, не давал

умереть в то время? Не-ет, кабы мать не таскала зернецо, да в ступе не толкла, с дурындой не мешала да не совала эти лепешки галчатам в вечно голодные разинутые рты, то давно вся ребятня у этого доброго господа бога в ангелах бы ходила, не успев согрешить. Вот так...

— Заморила вас баснями,— сказала, поднимаясь, баба Мотя.— И ты, хозяйка, сидишь, как нанятая, гостям взвару не вольешь.

Она в кухню ушла, а Катя мягко спросила:

— Надежда Федоровна, вы писали заявление директору?

Женщина растерялась, краска в лицо ей кинулась.

— Писала, дура... Вот дура так дура...

— Не надо так... Что вы...— начала ее Катя успокаивать.— Вас никто не упрекает. Просто расскажите нам: в чем дело? В чем вы Балашову обвиняете?

— Дура я, да и все,— не поднимая головы, ответила женщина.— Бусько меня на почте встретила, говорит, бухгалтершу поймали. Она нас обворовывала, кому помощь-то оказывала школа. А теперь, мол, деньги, какие она лишние взяла, будут на руки отдавать. Только надо заявление написать. А не подашь, все так и останется. Я и написала, отдала ей, она в школу шла. Я уже потом думала... Да чего теперь зря говорить, опозорилась...

Лаптев тоже опустил голову сидел, ему неловко за эту женщину стало. А особенно не хотел он, чтобы мать ее зашла и все узнала. Ему думалось, что ни о чем не знает мать.

— Ладно, былого не вернешь,— сказала Катя.— А может, вы и правы. Точно пока не знает никто. Вот давайте и выясним, чтоб душой не болеть. Где костюмчик, ботинки? Давайте посмотрим.

Женщина к шифоньеру метнулась, вытащила синий костюмчик, в кухню пошла за ботинками. Лаптев нашел контрольные ярлыки, переписал их в блокнот. Даже на ботинках ярлык хорошо сохранился.

— Вот теперь мы проверим,— сказал он женщине.— И все выяснится. А тогда...

Тонкое блеяние из кухни заставило его замолчать, прислушаться. Дробный перестук копытцев донесся и бабы Мотин голос:

— Поднялися, мои хорошие, проснулися... Счас зачем вас годувать, не ревите дурняком...

Катю ветром из горницы вынесло. Лаптев за ней пошел, остановился в дверях кухни. А на кухне следом за бабой Мотей весело топотили два черных козленка, недельных, не более. Гладкая, тугими кольцами витая шерстка их блестя, копытца тукали звонко, влажными темными носами тыкались они в бабы Мотин подол и блеяли с жалобным отчаянием.

Кате, видимо, страсть как хотелось погладить, приласкать этих трогательных в своей младенческой прелести огольцов, которые начали уже скакать и поддавать малыши своими головенками бабкин подол. Потрогать, конечно, хотелось, но рядом был ученик и его родные. И потому Катя присела на сундук и не отрываясь глядела.

— Ху-ух, сатаны... — беззлобно ругалась баба Мотя. — Откель вы взялись, какой вас водой сюда принесло? Спали б да спали... Да счас, счас, поведу вас к мамочке. Во какой у нас курагод! — смеясь, обратилась она к Лаптеву и Кате.

Лаптев с Катей оделись и, попрощавшись, вышли. Баба Мотя провожала их.

— Слава тебе господи, — открывая дверь, сказала она. — Либо и вправду зима пришла.

Крыльцо уже побелело от снега и крыши соседних домов. Еще чернела земля. Тяжелые хлопья кружились в косом желтом лоскуте света, что падал из коридора.

— Дюже моя дочка припозорилась? — тихо спросила баба Мотя.

— Да что вы... Это ничего... — успокоила ее Катя. — Она же просто сомнения свои выразила.

— Сколь ей говорю: ежли в голове не сеяно, то лишь под носом сбирай, а дале не лезь. Разве послушают... Та дурка понабрешет, что и не перелезешь, а эта рот разинет и ловит.

— Баба Мотя, не расстраивайтесь, ну, не надо... Дело житейское...

Провожая гостей, уже у самой калитки, баба Мотя сказала:

— А все же вот в войну дружнее жили. Тяжело... а дружнее. И ревели вместе. А бзык нападет — запоем, да так хорошо станет. Все на людях... Дружно жили. Може, не было ничего, ничем не гордились. А сейчас гляжу — и глядеть не хочется. Под себя гребут и гребут да оглядаются, кабы кто больше не нагреб да кабы схоронить по-

дальше. А вот по-людски, по душевному... вот нету этого, а в войну было...

Попрощались с бабой Мотей и пошли переулком.

— Хорошие люди... — проговорил Лаптев.

— Да, и мальчик хороший, скромный мальчишка.

Им-то Балашова зря деньги не отдала. Бусько нельзя, та бесшабашная. А этим надо было отдать.

— А где отец мальчика?

— Мать-одиночка.

— Ясно... — И, недолго помолчав, продолжил: — Я хотел у вас спросить, Катя... Ведь Балашову обвиняют не только в воровстве. Ведь директорша ваша мне прямо заявила: «Развращала учениц». О чем таком она могла девочкам толковать? Неужели она глупая женщина и действительно могла что-то ненужное наплести? В чем дело?

Катя ответила не сразу. Но и начав говорить, она не спешила. Иногда замолкала, думала.

— Балашова независимо держалась. Ведь при Евгении Михайловиче она работала... ну, не очень дорожила работой. Наверное, просто не хотела дома сидеть. Ну, и Евгений Михайлович, конечно, большая поддержка! Его уважали, ценили. Наша директорша его побаивалась. Поэтому Лидия Викторовна... А может, просто характер у нее такой... Но вот такой случай я помню: воскресник, как всегда макулатуру, металлолом собирать. А у нас этой макулатуры полный сарай. Какой год гниет. И железок навалено много. Все собирали, а не вывозят. Балашова говорит: незачем его проводить, этот воскресник. Мусор со всего поселка в школу тянуть. Детей обманывать. Они же видят, что эта макулатура лежит, никому не нужна. Ну, и высказала все... Конечно, правильно. Хотя и нам это ясно, и директору, но ведь требуют из районо. Надо отчитываться. Вот и делаем...

Помню еще один случай, тоже при мне. Лидия Викторовна на полставки в интернате работала. Директор наша решила строем ребят водить: в столовую, в классы. Мол, порядку больше будет. А Балашова на дыбы: «Я — не унтер, а они — не оловянные солдатики, нечего казарму разводить». И отказалась.

Сами понимаете, директору нашему это очень и очень не нравилось. Если не более. А что до остального... Вот мы с мамой часто спорим, даже до ругани дело доходит. Мы спорим, можно ли с учениками абсолютно честным быть,

честным на равных. Я думаю, можно. Мама говорит, что это подлаживание, игра в поддавки. Я хоть и держусь своего мнения, но больше на словах. В школе это у меня не выходит. Балашовой легче. Она, в общем, не учитель. Какой с нее спрос? Труд вела, воспитателем была. Конечно, легче. И у нее... мышление, конечно, не педагогическое. Возьмем такой пример. Вот мою маму ученицы, не дай бог, спросили бы, как косметикой пользоваться, какая мазь лучше... Да они у нее и не спросят. Я просто предполагаю. Мама сразу бы им выдала: рано о женихах думать, учиться надо. Меня бы спросили, я бы, наверное, как-нибудь вывернулась, открутилась... Все же учитель, а здесь... Не знаю, не смогла бы. А Балашова с ними о таких вещах спокойно разговаривала. Рецепты им давала. Я видела у девочек записи, как маски делать. Она им, в общем, правильно говорила: мази вам не очень нужны, а пока живете в деревне, пользуйтесь овощами, фруктами, молоком. Делайте маски... Не знаю, может, это и правильно, но... непривычно. Учителям это не нравилось. Мне, откровенно говоря, тоже. Она с ними не только о косметике разговаривала, но и о более сложном. Как женщина с женщинами... Но вот как она эти разговоры вела... в общем-то нужные. Знаете, Семен Алексеевич, спросите лучше у нее. Она скрывать не будет, в этом я уверена. А мне трудно через третьи руки, через слухи вам объяснять. Я с ней была так: здравствуйте — до свидания. Мама тоже. Так что с ней поговорите.

— Да... Видимо, так... — согласился Лаптев. — Хотя она в больнице сейчас. Ну, подождем.

Анна-зимняя бралась за дело всерьез: снег повалил круче, и не похоже было, чтобы он таять собирался. Тянуло холодным ветром, верховым.

У автобусной остановки Лаптев с Катей начали прощаться. Девушка недалеко жила, возле аптеки.

Прощаясь, договорились о завтрашнем. У Кати подруга работала товароведом, и через нее можно было точную цену вещей установить. Пальто, ботинок, костюмчика. Но не только установить, а и получить документ. Твердый, с печатью. Дело того требовало. Катя обещала все это сделать завтра.

В последний момент Лаптев пожалел девушку. В вязаной шапочке, легком пальто она казалась моложе своих небольших лет. Девочка-старшеклассница. В очках для строгости. А пожалев, он сказал:

— Может, вам не стоит связываться, Катя? Ведь ваша начальница узнает. Мы-то, старые, ко всему привыкли. К крику, к ругани... Или вы правда замуж выходите, уезжаете?

— Никуда я не уезжаю. Зоя себе оправдания ищет, вот и придумывает. Вообще-то я, конечно, трусиха. Когда кричат на меня, боюсь. Нехорошо прямо делается. Но еще хуже будет, если ребята спросят про Балашову, а ответить нечего. Это еще страшней. Все мои высокие слова... прахом. Тогда из школы убегай. И вообще, ведь нехорошо все это, очень нехорошо... Ладно, до свидания, я побегу, мама беспокоится. Завтра все сделаю и постараюсь, как вы говорите, с печатью.

Она засмеялась и, повернувшись, побежала прочь. И сразу пропала в темноте. Только легкие скорые шаги были слышны. Но недолго.

На остановке Лаптев один стоял. И в автобусе было негусто. Редкие люди сидели нахохленно, подняв воротники. Старенький автобус продувало холодным ветром. Декабрь наконец-то повернул на зиму.

6

Во времена неблизкие прошла рядом с поселком большая стройка. Отгрохотала невдалеке, сделала свое дело, ушла и оставила на память «стройрайон», в котором было четыре «генеральских» дома — сейчас детский сад и ясли, два десятка «немецких», под непривычно высокими красными черепичными крышами, дюжина «восьмиквартирок» да толпа бараков. «Стройрайон» лежал на окраине поселка. Его, конечно, не бросили, заселили, но обратили в свою веру. Дворы «восьмиквартирок» и бараков — общих домов, доселе в поселке невиданных, — мигом заполнила разношерстная толпа сараев, сарайчиков и сараюшек. Здесь водили кур да поросят, кроликов да голубей, а кое-где и коз. До коров, правда, дело не дошло. А остальную землю, сараями не захваченную, поделили на малые клочки, обнесли заборами. И теснились в этих игрушечных огородиках грядочки редиса и лука, кустики помидоров, «болгарки» да «синенькие». А кое-кто и деревья сумел посадить: вишен пару, абрикосину или яблоню.

«Стройрайон», как и всякая времянка, быстро дряхлел,

кое-где рушился. Но, словно мохом старости, все более обрастал какими-то нелепыми пристройками-скворечнями, летними душевыми, гаражами, неизвестными будками и в скором времени грозил если не рухнуть разом или сгореть от одной спички, то слиться в единое, латаное-перелатаное, фантастическое человечье жилище.

В один из таких домов-«восьмиквартирок» и шел Лаптев, в дом, где жили Балашовы. Но идти к ним следовало в последнюю очередь, сначала же обстоятельно с соседями поговорить, добро, что нашелся повод — предстоящие выборы и должность агитатора.

Во дворе дома, как и во всем жилгородке, недавний снег уже почернел. Нещадно чадила котельная, из трубы ее днем и ночью тянулся шлейф аспидного дыма. Лаптев остановился посреди двора, стал внимательно дом разглядывать. Ветхий был дом, облезлый. Резко пахло грязной мыльной водой, помоями, из-под люка переполненного «септика» тянулся вонючий ручей.

Из подъезда выглянула простоволосая седая старуха в зеленом солдатском бушлате и высоких калошах на босу ногу.

— Вы не из райсовета, гражданин? — хрипловатым голосом спросила она.

— Нет, — ответил Лаптев.

Она разочарованно хмыкнула, но не ушла и глядела на Лаптева оценивающим взглядом.

— Может, вы по объявлению? Мотоцикл покупать? Так Василий на работе.

— А какой мотоцикл? — спросил Лаптев.

— Зеленый «Урал» с люлькой, — принялась объяснять старуха, подзывая Лаптева к себе. — Идите, я вам расскажу.

И она все рассказала. О Василии, который пьет; о жене его Полине, которая ругается; о детях, которые могут сиротами остаться; о деньгах, которых всегда не хватает.

Лаптев представился. Слово «сотрудник редакции» произвело некоторое впечатление, и женщина вызвалась собрать людей у себя. Что и сделали. Людей оказалось негусто: трое пенсионеров да две женщины помоложе. Все они пришли одетыми по-домашнему, отговариваясь делами. И Лаптев их не задержал. Он быстро рассказал, что нужно, и люди стали расходиться. А Лаптев, заглядывая в список

избирателей, начал спрашивать об отсутствующих. Пришла очередь и Балашовой.

Одна из женщин уже на пороге была, но, о Балашовой услышав, уходит повременила.

— Так ее нет? — спросил Лаптев.

— В больнице, болеет...

— Так и запишем, в больнице. А это какая же Балашова? — словно вспоминая, проговорил Лаптев. — Это не учителя жена, какой в прошлом году умер?

— Она самая.

— Да-а,— сочувственно вздохнул он, продолжая игру.— Дети остались. Человек еще не старый был. Вот она жизнь... Ну, а как вдова? Замуж еще не вышла? Она вроде молодая? — спросил он и исподлобья взглянул на женщин. Две из них на диване рядом сидели, одна, все так же, у дверей.

— Пока не вышла,— сказала хозяйка квартиры.— Женихов вроде много. А вот замуж что-то не торопятся брать.— Она хохотнула и на товарок глянула. Те усмехнулись понимающе.

— Женихи? — переспросил Лаптев.— Какие женихи?

— Да какие женихи у безмужней женщины бывают, такие и у нее.

— А-а-а,— догадался Лаптев.— Вот оно что... Да-а-а,— протянул он осуждающе.

— Из-за этих женихов,— доверительно сказала хозяйка,— из-за них она и проворовалась. Вот до чего они нашу сестру-то доводят. С ними только завяжись.

— Я слышал, слышал,— заинтересовался Лаптев.— Но не поверил. А выходит, правда? Не брехня?

Тут уж женщины, почуяв своего, наперебой объяснять принялись:

— Какая же брехня, раз с места взашей прогнали.

— Попалась, куда денешься!

— Бабы в магазине говорили, много взяла. И деньгами, и вещами — ничем не гребовала.

— Да ее и видно. Культурная, здравствуется всегда, а так... Вроде через губу переплевывает.

— Это ты зря... Так-то она неплохая баба, уважительная.

— Выставляет из себя... Только чем гордится?

— А какие ж женихи ходят? — спросил Лаптев.

— Да всякие. Мы их уж изучили. С больницы ходит

врач, с туберкулезной. Потом с авторемонтного часто гостиют двое. Я их знаю. Один во-он живет, на краю. А у другого мать в собесе работала, Зоя Семеновна, полная такая.

— А водолаз со спасалки...

— Ага. Этот сроду угнет голову. Вроде его не угадают.

— Хоронится.

— Может, они просто в гости наведываются? — невинно предположил Лаптев. — Ко всем люди ходят...

И от этого невинного, но вроде бы оправдательного тона женщину помоложе, что у дверей стояла, даже пердернуло.

— Мы не дурей других, — двинулась она на Лаптева, — мы знаем, зачем мужики к бабе ходят. Одни ходят, без женов своих. Не мой туда ходит, а то б я следом, да подкараулила, да все стекла побила! Да рожу бы ей прилюдно подрала когтями! Враз бы перестала принимать.

— Гости гостям рознь, — принялась объяснять хозяйка комнаты. — Мы знаем, как гости должны ходить. Положим, пришли люди. А почему мы ничего не слышим? — решительно спросила она. — Ведь гости, когда выпьют, песни играют, шумят, пляшут. Это всегда так ведется. А если по-мышинному собрались, молчком, здесь дело понятное. Знаем, — многозначительно предупредила она, — знаем, какие дела молчком делаются.

— Они, может, чай пьют, — со смехом сказал Лаптев.

— Да-а... Нынче гостей чаем не встретишь. Время такое. Бутылку готовь, да одной и не обойдешься. Такое время. Слава богу, и сами гостюем, и людей принимаем, не хуже других.

Лаптев посидел еще недолго, выслушал обычные жалобы на домоуправление, магазины, на пьющих мужиков, посидел, посочувствовал и распрощался.

По времени Маша должна была вернуться из школы. И, спустившись на первый этаж по широкой, чисто вымытой, деревянной лестнице, Лаптев постучал в квартиру Балашовых. Дверь открыла Маша.

Открыла, легонько охнула, увидев нечаянного гостя, но тут же в квартиру впустила и принялась раздевать. Заворяя дверь, Лаптев заметил, что давешняя его знакомая,

от которой он только что вышел, перегнувшись через перила лестницы, глядит ему вслед.

В комнате Маша оставила Лаптева ненадолго. Вернулась она уже не в цветастом халатике, а в коричневом платье, вроде школьном.

Девочка, конечно, была красива. Сейчас Лаптев точно разглядел. И тонкие брови были хороши, и большие темные глаза, и особенно волосы, смоляные косы, какие теперь уже в диковину. И видна была явственно азиатская кровь.

— Как мама? — спросил Лаптев.

— Ей уже хорошо. На днях выпишут.

Лаптев о деле начал говорить.

— Ты уже взрослая, Маша, — сказал он. — Я с тобой по-взрослому и говорить буду. Ты знаешь, в чем обвиняют Лидию Викторовну. Но я сейчас точно могу утверждать, что все это выдумка. Все это вранье. Так у нас бывает, толком не знают, кому-то померещилось, а другим — лишь бы языки почесать, третьим — это на руку. Вот и пошло... Гляди. — Лаптев вынул из кармана бумажник, в котором помещалась теперь вся его канцелярия. — Вот заявления, те, что Бусько писала, Демкина. Тебе их Алешка показывал. Но прочти еще...

Он подал девочке эти бумаги и, ожидая, пока она прочтет, прошелся по комнате взглядом.

Хорошая была комната, просторная. Правда, пустоватая. Диван здесь стоял да стол, за которым сидели они. У дверей, слева, видно, книжные полки помещались, задернутые неяркой шторкой. В углу — приемник на ножках, а рядом три узких высоких динамика. Назначения их Лаптев не понял.

Прочитав, Маша вернула фотокопии. А Лаптев подал ей еще один лист бумаги, большой, с печатью, и объяснил:

— Мы были у Бусько и Демкиных. С вашей учительницей ходили. Проверили вещи, которые твоя мама покупала. И вот справка, ее написал товаровед, тут, видишь, печать. Все по закону. Никаких претензий к Лидии Викторовне нет. Все вещи стоят именно столько, сколько в счетах указано. Копейка в копейку, — улыбнулся он. — Все в порядке.

Девочка быстро пробежала глазами писаное и спросила сдавленно:

— Так зачем же они, зачем?

— Видишь ли, Маша,— принялся объяснять Лаптев,— у Бусько соседка продавец. Она поглядела на пальто. Вроде такие у них в магазине продавались. И сказала, что цена его сорок два рубля шестьдесят копеек. Армавирской фабрики пальто. Но оказывается, в смешторг завезли такие же пальто, только с другими воротниками. Получше воротники. И цена у них выше. Ну, Бусько женщина языкатая, она и поднялась. И другим голову задурила. Вот и получилось, будто...

— Я не о том...— перебила Маша.— Зачем в школе?.. Разве они не могли... Зачем они так сделали? — И, припав лицом, руками и всем телом к столу, Маша заплакала.

Тут уж Лаптев ничем помочь не мог. Он был неловок. Хотел было погладить девочку, приласкать, да не решился. И поугрюмел, сложил на коленях мослатые руки, выставил вперед лысую голову, лоб наморщил, прищурил глаза. Несладко ему было глядеть на плачущую девочку. Ох, как несладко... Но он сидел, молчал. И закурить было нельзя.

А потом, когда Маша отплакалась, Лаптев сказал:

— У тебя не осталось этого... пустырника? Алешка вам приносил. Может, осталось, так выпей. Успокаивает.

— Не надо,— покачала головой девочка, вытирая ладонями глаза,— не надо ничего... Просто так обидно стало... За что они?

— Маша, Маша...— проговорил Лаптев.— Тут разом не объяснишь. Это потом вы поймете... Жизнь, Маша. Всякие люди... Я вот сколько прожил уже, а так же вот иной раз думаю... Чего, думаю, вам надо? Чего вам не хватает? Откуда такие ненавистные люди берутся?.. Везде они есть, Маша. И с ними жить. Никуда не денешься. Приходится жить. Ты, Маша, сходи сегодня к матери, скажи ей, что все в порядке. Я эту справку могут дать. Только теперь я не знаю... Я сам завтра к ней схожу... Что дальше делать, как считаешь? Вот, я думаю, надо в суд подавать. Теперь-то точно восстановят, никуда не денутся.

— Нет, в суд не надо,— ответила Маша.— Никуда теперь не надо, Семен Алексеевич. Мы уезжаем.

— Как уезжаете? Куда? Зачем?

— Простите, я на минуту,— проговорила Маша и вышла из комнаты и скоро вернулась.

Она умылась, в порядок себя привела и, снова усевшись за стол, сказала:

— Мы уезжаем. Скоро. Как только мама выпишется. У нас есть друг, папин друг, наш друг, Валерий Николаевич. Он здесь, в тубдиспансере работал. А теперь его переводят. Он будет в санатории работать, главврачом. Это недалеко, в нашей области. И мама там будет работать. Квартира там есть. Тетя Таня, жена Валерия Николаевича, там уже все приготовила. Побелила. Там хорошее место, речка рядом, лес. Мы еще до Нового года уедем. Так что не надо в суд. Да мама и не вернулась бы в школу. Хоть и восстановили бы...

— А как фамилия врача? — спросил Лаптев. — Я его знаю?

— Никитин.

— Нет, — подумав, сказал Лаптев. — Не знаю. Отца, говоришь, друг?

— Да, папин... Наш.

Маша поднялась и подошла к окну, штору чуть приоткрыла. За окном чернели голые ветви. Куст какой-то рос подле самого дома.

Придерживая штору рукой и рассеянно глядя в окно, Маша со вздохом сказала:

— Нам нельзя здесь оставаться. Мама говорит, что мы здесь не вписались. К нам, Семен Алексеевич, и в доме не очень хорошо относятся. Но почему?.. — не спросила, а просто вслух подумала она. — Папа был хорошим человеком, добрым, умным. У него друзья были. У нас. Хорошие люди. И они нас не оставили, когда папы не стало. Я не знаю, почему это плохо... Они ходили к нам и ходят. Папа любил в преферанс играть. Ну и что... Играли каждую субботу. Папа говорил: это разгрузка. И без него они приходят каждую субботу. Играют, как всегда. Мама их просила. Ей так легче. Музыку слушать приходят по вечерам. Вы у нас не были, у нас хорошая музыка есть. Радиола стерео. Алеша приходит слушать. Я не пойму... Если папа умер, значит, все его друзья нас должны бросить? Так выходит?.. Не ходить к нам?.. Эти шепотки, эти сплетни... Взрослые люди, взрослые... И ничего не понимают... Нам надо уехать, — оставила Маша окно и штору. — Маме надо уехать, — повернулась она к Лаптеву. — Мне, конечно, очень не хочется школу бросать. Учились вместе, привыкли...

Она ничего не сказала об Алешке, но, видно, подумала, потому что ласков и печален был взгляд ее, устремленный на Лаптева. И не для Лаптева, конечно, был этот взгляд. Хотя нет, для Лаптева, но не для этого, для другого.

И Семен Лаптев это почувствовал. И душу его внезапно объяла пронзительная, щемящая нежность.

Как хороша была эта девочка в коричневом школьном платье... Высокая, ладная, без детской уже худобы. Девушка — не девочка. Но детски нежным было ее лицо, ее глаза глядели с детской доверчивостью и болью. И говорила она, торопясь и захлебываясь, по-детски. По-детски светел и чист был дух ее.

И Лаптев улыбнулся, радуясь этой девушке и своей неожиданно счастливой, светлой минуте. Он глядел на Машу и понимал, что любит ее сейчас, как любил сына. Он любил их вместе, неразделенно, своих детей. И он не мог сейчас уйти, оставив Машу одну. Этого нельзя было делать.

— Маша, мне на работу,— сказал Лаптев.— Проводи меня, если можешь. Может, к маме зайдешь. Хорошо?

— Да, да, конечно,— ответила Маша.

И они вместе вышли из дома.

7

Постучав и не дождавшись ответа, Лаптев приоткрыл дверь. Редактор стоял возле окна. Заметив вошедшего, он поманил его к себе с таинственным видом.

— Гляди...— шепотом сказал он, указывая на цветочный горшок с кактусом.

На красноватой земле росла кучка невзрачных серых растений, похожих на речные голыши-камешки. И ясным солнышком цвел среди них ярко-желтый цветок с узкими перламутровыми лепестками.

— Понял? — спросил редактор Лаптева так горделиво, словно вся прелесть южного цветка была создана им, дядей Шурой.

— Понял,— эхом ответил Лаптев.

А редактор форточку прикрыл и отворил другую, у соседнего окна. Расставаться с цветком не хотелось, дядя Шура смотрел на него, смотрел, потом тяжело вздохнул и, отходя, сказал:

— Вот... И глядеть охота. Хорошо. Создаст же бог...

— Вам бы надо в цветоводы идти,— посочувствовал Лаптев.

— Во тебе,— спокойно показал редактор мясистую дую.— Там сегодня один начальник, завтра другой. Одному розы подавай, другой бананы какие-нибудь придумает. А сам я чем хочу, тем и занимаюсь. Понял?

— Понял,— ответил Лаптев и, выдвинув стул, уселся. Бумага, лежавшая в кармане, придавала уверенность. Козыри были, как говорится, на руках.

— Я разобрался,— кротко начал он.

— С кем разобрался?

— С увольнением Балашовой. Там все неправильно. Там получилось так...— И Лаптев начал излагать ему известное.

Редактор слушал внимательно, осуждающе хмыкал, поддакивал. И Лаптев, чувствуя, что дядя Шура сдастся, факты его прижимают, громче и уверенней стал говорить. И закончился этот монолог на высокой ноте:

— Видите, я был прав!

— Да... прав, прав...— тяжело покивал головой редактор. Это точно...

— Так что будем делать? — спросил Лаптев.

— Расставаться,— ответил дядя Шура.— Прав, говорю, был Пулин. Правильно он говорил, что ты... Ладно. Давай-ка, друг, расставаться. Подыскивай работенку. Полмесяца я тебя подержу. Ну, месяц. И хватит. По собственному желанию, без обиды. Понял?

— Как? — не понимая, спросил Лаптев и даже улыбнулся. И тотчас начал трезветь. Мальчишеский победный хмель, еще минуту назад круживший голову, оставил его.

— А вот так,— жестко ответил редактор.— Пока я здесь сижу,— оперся он руками о стол,— я и командую. Я тебя предупреждал. Ты не понимаешь. А мало ли чего тебе в голову взбредет? Сегодня ты с этой бабой связался, а завтра тебе еще чего-нибудь захочется. Не-ет,— помахал редактор пухлой мясистой ладонью.— Не пойдет. Мне люди послушные нужны. Пусть лучше Румкин, пусть болтун и дурак. Но послушный. Безвредный. А за тобой, оказывается,— пригрозил он пальцем,— глаз да глаз нужен. Это мне не с руки. Твоя эта самодеятельность,— съязвил он,— мне боком выходит. Ты понял меня?

— Кажется,— ответил Лаптев.— Значит, по собственному...

— Да, для тебя лучше.

— А если я не захочу?

— Ха-ха-ха,— добродушно рассмеялся дядя Шура и откинулся, обмякая на стуле.— Вот видишь, я прав. Ты уже пупом земли себя считаешь. Захочу — не захочу. А я тебя предупреждал: ты — не пуп земли. И нечего горор показывать. Хочешь... не хочешь... У тебя выговор был в октябре, когда указ перепутали? Строгач недавно я тебе подвесил. Ну, и теперь твой отчет. Посмотрим, что люди скажут, и будем делать выводы. А мое мнение,— холодно глядя в глаза Лаптеву, сказал дядя Шура,— лично мое: ты не тянешь. Работал всю жизнь в лесу, в берлоге. У вас какое там сельское хозяйство? Две коровы и то одна яловая,— рассмеялся он.— У нас тебе, конечно, трудно. Не тянешь. Нет,— решительно мотнул он головой.— Слезы, а не работа. Пора это кончать. И не ставь себя в смешное положение, уходи сам. Все ясно? Я тебе открыто, по-честному. Все же ты фронтовик, инвалид, я это понимаю. Но козырять,— строго предупредил он,— козырять этим не надо. Прежде работа, а потом заслуги.

— Ясно,— поднимаясь со стула, ответил Лаптев.

Он уже в дверях был, когда редактор его окликнул:

— Постой. Предупредить хочу. На месте этой, твоей подруги, Балашовой, что ли, уже работает женщина. Между прочим, она в положении, беременная. Ты понял? Так что не советую тратить время. Ее защищает закон. И если вы начнете...

Не дослушав, Лаптев вышел из кабинета: чего воду в ступе толочь. И лишь у себя в комнате он усмехнулся: «Беременная в ход пошла. Подстраховались, мудрецы». Но не об этом нужно было думать сейчас, ведь Балашова уезжала. Пришла пора думать о себе.

Сгоряча, еще там, в кабинете, когда дядя Шура хаял его, Лаптев решил тотчас же заявление написать. Плюнуть на все и написать. Не увольнения он боялся с какой-нибудь поганой статьей, возмутила его подлость дяди Шурина. «Не тянешь, слезы, а не работа» — таких слов Лаптев не заслужил. Двадцать пять лет тянул, и никто слова худого не сказал. И здесь уже два года. Поругивали, это бывало. Но чтобы вот так... таких вот слов не приходилось слышать.

И потому сгоряча хотел он написать заявление об

уходе, даже начал его. Но, поостыв, решил, что спешить в таком деле нельзя. Прежде надо подумать.

Было бы ремесло в руках — иное дело. Лаптев и минуты бы не медлил, плюнул бы и ушел. Но куда уходить? Когда-то учили его слесарничать, в давние времена, до войны. Конечно, забыто все. И фронтовая наука сейчас негожа. И где иную взять? Как из госпиталя пришел Лаптев калеченый, на костылях, как послали его, «грамотея»-лейтенанта, в «районку», на легкую работу, так и проскрипел он пером до нынешней поры. А теперь куда податься? В ученики идти на шестом десятке? Засмеют да и не возьмут, старого да хромого. Да и куда брать, в поселке — не в городе: заводичко немудрящий да пяток не то мастерских, не то артелей. Строители есть, но туда не сунешься с калеченой ногой. В сторожа подаваться, так найдется ли место, там женщины да пенсионеры. И зарплата не та. Да и рановато еще ему в отставку идти. А теплого места ему теперь не дожидаться.

Да еще эти слухи поползут: выгнали, выгнали. И всякому ведь не расскажешь, не объяснишь. Да и поверят ли? Обязательно будут коситься. Лаптев только представил себе это унылое и тягостное хождение в поисках работы, и тут же стало ему не по себе.

А может быть, дураком прикинуться? Сделать вид, что ничего не случилось, отмолчаться. На обсуждении ругать начнут, покаяться. Может, и не будут связываться, побоются, все же фронтовик, инвалид. А тут годовщина Победы на носу... Но как унижительно все это, как пакостно! Как горько себя ломать, как тошно, господи... А что делать? Что делать-то...

Лаптев вдруг иными глазами, со стороны, оглядел свою комнату: здесь было тепло, покойно и удобно, здесь было хорошо. И эта комната, и эта работа показались ему таким раем...

Зазвонил телефон, и Алешка, сын, сказал взволнованным, срывающимся голосом:

— Папа, ты мне нужен... Сейчас, сейчас... Очень нужен... Нет, к тебе я не могу прийти... Не могу...

— Что случилось? — еще раз спросил Лаптев. — Да что за день такой! Скажи толком, не с матерью? Ну, хорошо, иду сейчас.

Они сговорились встретиться в парке. Лаптев тотчас оделся и вышел на улицу.

Холодно было на дворе, по-настоящему, по-зимнему. Второй день уже мороз прижимал. Ночью до двадцати доходило. Лаптев быстро прошел короткую дорогу до парка... Алешки там еще не было, и Лаптев уселся на холодную скамейку. Сидел, не шевелясь, дожидаясь.

За парком, за черной сетью голых его деревьев, клонилось к темным домам оранжевое зимнее солнце. И небо в той стороне желтело нежно, с легкой прозеленью. А справа и слева, поодаль от солнечного туманного шара, Лаптев увидел радужные столбы. Размытые по краям, они поднимались от земли невысоко и рассеивались, пропадали. А может, их закрывали облака.

Лаптев не отрываясь, завороченно глядел на это призрачное многоцветье. Глядел и силился вспомнить: что же сулит эта морозная небесная зыбь, что предвещает? Ведь он слышал когда-то о такой примете, знал ее, но сейчас вот забыл, к добру это или к худу.

Он так и не вспомнил, потому что Алешка подбежал сзади и крикнул, задыхаясь:

— Маша уезжает!

— Когда уезжает? Сейчас?

— Не сейчас, но уезжает! Совсем!

Алешка упал на скамейку рядом с отцом и, жадно глотая воздух, повторил:

— Совсем уезжает...

— Да-а,— подтвердил Лаптев.— Правильно. Они уезжают. Я знаю.

Сдернув с головы шапку и утирая пот, Алешка говорил торопясь:

— Ну как же так... Ведь все сделано... Ведь теперь все ясно... Лидия Викторовна не виновата. Зачем... Скажи, ну, убеди... Никуда не нужно ездить... Ведь Маше школу кончать... Ну, пусть хоть до лета,— просил Алешка.— Куда они поедут? Зачем? Зимой... Ну, пусть Маша останется хоть до лета.

Лаптев забрал у сына шапку, нахлобучил ее на лохматую Алешкину голову и сказал:

— Что же, давай их привяжем. Запретим уезжать — и шабаш.

Сын притих, нахохлился. А Лаптев обнял его, притянул к себе, и Алешка послушно ткнулся головой в отцово плечо.

— Я больше никогда ее не увижу...— прошептал он так



горестно, что Лаптеву стало не по себе.— Не увижу... Я знаю...

— Сынок, сынок...— проговорил Лаптев с осторожной ласковостью.— Большой ты стал, сынок, а ум все ребячий. Как же не увидишь? Она ж не на край света уезжает. И думать о ней надо, сынок, не только о себе. Она не игрушка, чтоб под рукой держать. Ты — мужчина и прикидывать должен, как ей лучше. Ведь ей там лучше будет жить. Матери спокойнее, а значит, и ей. А что не встретитесь, это глупости ты говоришь. Вы уже взрослые люди, через год школу кончаете. Все в ваших руках. Учиться поезжайте в один город — вот и опять вместе. Так что не горюй, сынок, все хорошо будет. Все будет хорошо. Летом можно увидеться. В гости съездить. Рядом же... Только ты сейчас себя по-мужски держи. Ну, пусть у Маши глаза на мокром месте, это понятно, женщина. А тебе подтверже надо держаться. Лидия Викторовна слаба еще. Ты должен помочь, все уложить по-людски, крепкой рукой. Я приду помогу. А потом проводить... Да не с вокзала ручкой помахать, а поехать с ними. До города, а лучше до места. Все же женщины, тяжело им будет с вещами возиться. Так что помогать надо, Алешка, а не кваситься.

Сын поднял голову:

— Да, я провожу их, до самого места. Можно?

— Почему же нельзя, можно.

— А мама не заругается? Знаешь, как она всегда...

— Мама не глупее нас, все она понимает.

— Тогда я побегу,— вскочил Алешка.— Пойду помогать...

— Прямо сейчас?

— Конечно.

— Ну, беги...

— Я, может, задержусь, папа. Не беспокойтесь.

— Ладно, сынок...

Алешка помчался напрямую, через снег, меж деревьев. Побежал и скоро исчез за клубом. А Лаптев, проводив сына, недолго еще постоял возле скамейки, потом к редакции медленно пошел да вдруг передумал и зашагал совсем в иную сторону: мимо школы и горсовета, через переезд и далее по мощенной булыжником дороге, к переправе.

Он шел неторопливо, чуть прихрамывая, и еле заметно

улыбался. Алешка все стоял перед глазами. И не хотелось это видение отгонять.

Остался позади безлюдный базар, а потом и заправочная станция. Когда Лаптев выбрался на берег, солнце уже скрылось за холмами. Нужно было влево сворачивать и идти по дамбе, вдоль реки до завода, а потом уже к дому.

У паромного спуска Лаптев остановился. Зимняя река покойно дремала в берегах, хороня подо льдом озябшие воды. Бело было вокруг, белым-бело. Но и под обманчиво-покойной белью видел глаз могучее тело несмиренной реки. Сверху она катила нешироким струистым рукавом, а здесь, на крутом калаче, вдруг начинала разворачиваться, словно плечами раздвигала тесное русло. И, разлившись просторно, успокаивалась. Теперь уже донизу, до моря.

Солнце закатилось, но еще не пропал в мире его зимний вечерний свет. И, словно чернь на тусклом серебре снегов и неба, темнели вдаль осыпи холмов, тонкая солома далеких деревьев, хрупкие опоры электролинии и нити проводов между ними, а совсем рядом, внизу, обдутые ветром, чернели днища лодок на песчаной косе, а возле ног — обожженные морозом будылья высоких трав. Покоен был этот строгий вечерний мир: ни железного гула, ни человеческого голоса, ни пения ветра. Покоен и величав.

— Э-эй, друг! — услышал вдруг Лаптев за спиной и обернулся. — На ту сторону метишь?! — Человек стоял внизу, у насосной станции. — От переправы правой держи! Там лед надежнее! А здесь катер ломал!

— Спасибо! — ответил Лаптев и, недолго еще постояв, пошел вдоль реки к заводу, к дому.

Справа от дамбы, в низине, росли деревья, молодняк, тополя да клены. Но Лаптев сейчас глядел в другую сторону, на реку. Там, у Зеленого острова, кучка рыбаков чернела. Видно, ловилась рыбка.

И вдруг Лаптеву почудился птичий посвист. «Фьють-фьють, фьють-фьють», — вновь донеслось до него. «Кто же это?» — недоуменно подумал Лаптев, потому что зимой только жаворонки, воробьи да синицы здесь голос подавали, воронья да сорок не считая. Но это свистела не синица. Песня была снегириная. Но откуда здесь взяться снегирю?..

Спустившись с дамбы, Лаптев пошел на голос и через полсотни метров увидел снегирей на молодом, невысоком

клене. «Фьють-фьють, фьють-фьють», — посвистывали они и лихо шелушили кленовые «летучки», добывая семя. Снег под деревом желтел от пустых «летучек».

Лаптев не поверил себе. Он глаза прикрыл, отгоняя наваждение. Но, открыв их, снова увидел трех ярких красногрудых пухлячков и самочку. «Фьють-фьють, фьють-фьють», — словно убеждая неверу, высвистывали они.

«Откуда вы, милые?.. Каким ветром вас занесло, хорошие мои...» — думал Лаптев. И на душе у него сделалось так тепло и радостно, что горячий ком давно не веданных слез вдруг подступил к горлу. И это было простимо, простимо...

«Фьють-фьють, фьють-фтьют», — ласково выпевали птицы, словно передавали привет от далекой родины.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора. <i>Б. ЕКИМОВ</i>	3
---------------------------------------	---

РАССКАЗЫ

ПОСЛЕДНЯЯ ХАТА	5
ПАРА ОСЕННЕЙ ОБУВИ	36
РОДНЯ	43
ТАРЫ ДА БАРЫ	53
СОЛОНИЧ	58
ОСЕННИЙ ПЛЯЖ	87
ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. (ПОВЕСТЬ)	115

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги*

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего возраста

Екимов Борис Петрович

СОЛОНИЧ

Повесть и рассказы

Ответственный редактор **В. М. Писаревская**

Художественный редактор **Н. З. Левинская**

Технический редактор **Т. П. Тимошина**

Корректоры **И. Н. Мокина, А. П. Саркисян**

ИБ № 11572

Сдано в набор 13.02.89. Подписано к печати 02.08.89. Формат 84×108/32. Бум. типогр. № 2. Шрифт таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 11,35. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1552. Цена 75 к.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

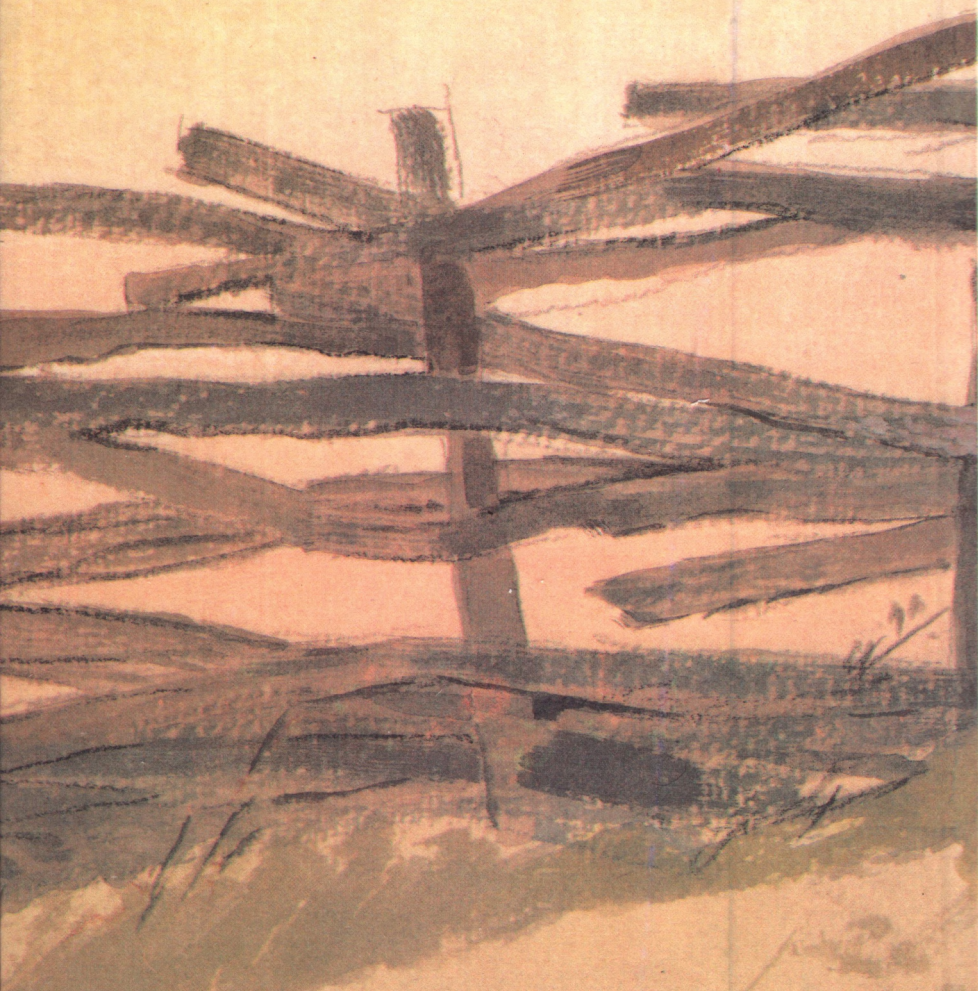
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Суцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





75 к.



СОЛОНИЧ

Борис Екимов

Издательство «Детская литература»